БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Серо Ханзадяну

Молодой политрук девятнадцатн лет
под Сниявином вскииул именной
пистолет:
«В бой за Сталнна, красиоармейцы!»

Под Синявином холода да топь...
Кóлом, словио из жестн, шинели.
Под Сииявином холода да топь...
Неподвоз... Двое суток ие ели.

Молодой политрук, девятнадцать годков,
посииевший от стужи, убеждает
стрелков:
«В бой за Сталина, красиоармейцы!»

А у иих уже иет человеческих сил,
как бы ои ии орал, ии страдал,
ни просил...
Припаялось сукио к снежиой корке
в их окопе иа стылом пригорке.

Но в полку —
через фроит перешедшая мать,
нз блокады прншедшая мать,
как в полку оказалась,—
ие могу я сказать.
Все ли можно иа свете узиать?

Эта жеищина в траурном вдовьем платке
в чахлом, чавкающем леске
перед взводом упала на колени...
Сперва
в горле лишь клокотали слова.
К задубевшей шииели
бойца-паренька
прнкосиулась иа зябком рассвете,
и из уст ее хлынули гиев и тоска:
«Умоляю... Спасите... Там дети...»
Мать согиулась в снегу,
словно черный комок,
скорбью взвод поднимая
с иадломлеииых иог.

Встал боец-паренек,
а вослед и второй...
Молодой политрук вместе с нимн...
И от пышных сугробов передовой
в бой пошли на врага чуть жнвыми,
в бой пошли, н была с нимн храбрая мать
иа суровом рассвете,
что способиа была лншь одно повторять:
«Умоляю... Спасите... Там дети...»

Тот боец-пареиек
иыие друг мой Серо,
чем отвечу ему на святое добро?
Я ведь сам из блокады той давней.

А Серо вспоминает:
«Склоиилась к нам мать,
были б мертвыми даже,—
должны былн б встать...
Просит мать —
отзовутся н камин».

* * *

Ну что, деревия как деревия.
Поля. Смородины кусты.
Сквозь купол церковкн — деревья.
Даль августовской чистоты.

У глинистой дороги — просо.
Поодаль — иваи-чая цвет.
Но не уйти мне от вопроса,
и душу мучает ответ.

Зачем, решительны и резки,
по храмам и моиастырям
громили комсомольцы фрески,
давая волю топорам?

И, как нашествениик заправский,
безбожников веселых рать
повел товарнщ Ярославскнй
кресты и кладбища сметать.

Они ие ведалн дороги,
что выпадет им иа веку:
одиим — в московские чертоги,
другим — в морозиую тайгу.

Не ведали на щебие склепа,
киркой и ломом тешась всласть,
что им под огнеиное небо
идти и за Россию пасть.

Им ие припомнился ль с обидой
позор их молодых годков,—
тот ангел с головой оббитой
и космос без колоколов?

Ну что ж, признаемся в печали,
в деянья прошлого глядясь,
что русскими осозиавали
себя мы медлеиио подчас.

...Сидят на лавочке старухи.
Взгляд не свожу с нх горьких рук.
По камию храма-развалюхи
ползет — зиак весточкн — паук.

Я шел и думал,
что за помесь
добра и зла сотворена...

Ах, только б ие заглохла совесть
у иас... Ах, только бы оиа!..

Владимир ЛЯЛЕНКОВ

Роман

Рис. А. Пахомова

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Сергеевна стоит на коленях перед кроватью. Из-за пазухи выкладывает деньги на одеяло. Рядом лежит фанерка и кусочек мела. Деревня готовится к какому-то своему празднику. Съедутся отовсюду родственники, гости. Сергеевна побывала в Новогорске, продала яйца, масло, зеленый лук, два куска телячьей кожи собственной выделки. Она неграмотная. Письма от дочери я ей читаю и перечитываю. Пишу письмо под ее диктовку.

— Боренька, ты не бежишь нонче вечером никуда? — спросит она.

— Нет,— говорю я, зная, в чем дело,— я сегодня совершенно свободен. А что?

— Письмецо бы написать Галине...

И вечером мы пишем. Первое время я писал только с ее слов. И писали мы каждое письмо подолгу. Она то и дело сбивалась, повторялась. Теперь поступаем так: она рассказывает мне о том, что хочет сообщить. Потом сидит, молча смотрит на меня. А я пишу.

— Гладко-то, гладко-то,— качает она головой, улыбаясь, прослушав написанное мной,— и про телушку-то написал! Ох, Боренька, да откуда же ты узнал, о чем я вчерась вечером думала?

— Вы же мне говорили...

— Когда же? Ох, память-то совсем растерялась...

Нашептывая что-то, она раскладывает деньги по купюрам: рубли в одну стопку, пятерки в другую. И мелком пишет палочки на фанерке различной величины. Когда все деньги разложены, она обшаривает себя всю, не затерялся ли где рубль. Смотрит на фанерку. Думает, думает, разом поднимется с колен, вздыхает. Задача решена.

— Сколько выручили, Сергеевна?

— Пятьсот сорок четыре рубля.

— А не ошиблись?

— Как же ошибиться, Боря? Чай не листья, а деньги!..

Запрятав деньги в сундук, она проходит к печке.

— Боря, помоги вздынуть,— просит она.

Я поднимаю бочонки на печку. В одном сусло для пива, в другом затворена бражка. Водки куплено пять бутылок, они запрятаны в сундуке. Водка и пиво для дорогих гостей, бражка — для всех, кто зайдет в избу во время праздника.

— Что празднуете, Сергеевна?

— Ильин день.

— Название я уж слышал. Но что отмечают этим?

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 11.

— Да как же... Каждый год праздник этот, Боренька. Это давно ведется. И отцы наши праздновали. Вот погоди, на второй неделе, в субботу, съедется народ. Галина приедет с мужем. Что народу-то будет!..

Баранов ездит по бригадам, предупреждает:

— Бабы, смотрите: праздновать только один день!

— Хорошо, Алексей Михалыч, нам-то что? Нам гостей наугощать, а больше нам ничего и не надо!

— В самый разгар сенокоса этот праздник,— возмущается председатель,— каждый день дорог. Российское хлебосольство припутывается, гости, видишь ли, наедут, угощать их надо!

Он просит меня отослать рабочих в Кедринск накануне праздника.

— Устроят поножовщину, пойми ты!

Я бы отослал их, но это не в моих силах. Все наслушались о празднике: в любую избу заходи кто хочет, садись за стол, ешь, пей, гуляй... В двух банях у ручья гонят самогон. На бугре под сосной дежурят с утра до вечера два подростка: следят, не появится ли участковый Верейский. Он работает около года, до него здесь был некий Василий Демьянов, любивший выпить. С деревенскими жил мирно. Верейский же строг, говорят, у него «внутри какая-то болезнь», потому не пьет спиртного и за самогон строго наказывает.

Ко мне прислали жуковцев и бригаду женщин-разнорабочих, среди них Молдаванка. Еще больше потемневшая лицом, она работает в одном белом платье.

— Никуда от нас не денетесь, Борис Дмитрич!

На второй же день сошелся я с ней утром на берегу озера, она тоже пришла купаться.

— И вы купаетесь? Будем вместе!

Она стала стягивать через голову платье, я пошел прочь.

— Куда же вы, Борис Дмитрич, я вас не утоплю!..

Бригаду Жукова разделил на две партии. Одна работает в Заветах, другая здесь. Работа идет полным ходом, и мне, собственно, делать совершенно нечего. Можно познакомиться с другими колхозами. Если там есть материалы, я останусь здесь, если нет — уеду в Кедринск.

Центральная деревня «Красного пахаря» Хомутовка в семи километрах от Вязевки. Не доходя километра до Хомутовки, я увидел возле дороги каток, каким укатывают дороги. Грязь кончилась. Дорога засыпана песком, смешанным с гравием, и отделана с обеих сторон кюветами. Лес оборвался. Картофельное поле тянется далеко-далеко. На поле нет ни одного кустика. Деревня. С удивлением вижу, что все избы обшиты тесом, во дворах садики, чего нет в других деревнях. Огородов нет, похоже, будто поле подступает прямо к избам. Правление покрыто шифером. Старичок, похожий на вязевского бухгалтера Иваныча, говорит, что председатель Волховской у себя дома.

Волховской безобразно толст. В ситцевой косоворотке, обтягивающей пухлую спину, он принимает меня в своем домашнем кабинете. Стол завален книгами, брошюрами, счетами.

— Садись, садись,— хрипит он, оглядывая меня маленькими заплывшими глазками. Достает из стола смету.

— Я знаю, как вы строите... М-м-м,— ему даже говорить тяжело,— но я строю не за дядины деньги, а за свои... Лес и доски у меня заготовлены. Стоимость их учтена в смете, так что или сразу нужно смету переделать... А если времени нет, вот у меня составлен акт на возврат денег... Девяносто тысяч рублей там. Как сделаем? Мне все равно: что заплачу, а потому заберу. А можно и не канителиться...

— Давайте по акту вернем деньги при расчете. Возиться со сметой...

— Ну и добре. Варька! — кричит он, не оборачиваясь к двери.

Появляется девушка лет семнадцати.

— Пойди, дочка, позови Алексея.

И мне:

— Это у меня свой строитель будет. Он тебе все покажет. С ним решайте все вопросы.

Волховской зашелестел бумагами.

Я выхожу на крыльцо. Вернулась девушка.

— Сейчас придет...

Алексею лет двадцать. Он ведет меня за правление, здесь стоит новая пилорама иркутского завода с мощным мотором; обе рябухи ведущие. Два штабеля досок, тут же свалены бревна. Я молча хожу за проводником. Место для постройки мастерских и коровника уже выбрано.

— Подвесную дорогу пустим вот сюда,— толкует Алексей,— тамбуры к выгону, а окна молокосливной в сторону деревни будут глядеть.

Я поинтересовался, кем он работает в колхозе.

— Сейчас к строительству прикреплен. Буду с вами работать. У меня отец плотничал. Я с вашими людьми поработаю, чертежи научусь понимать. Потом сами строить будем.

— Ну, давай посмотрим...

Расстилаем на траве чертежи.

В этот день из Кедринска приходит бригада Поспелова. Я направляю ее в Хомутовку. В бригаде восемнадцать плотников.

Впервые за свою практику выписываю бригаде аккордно-прогрессивный наряд.

На другой день иду в «Искру».

Узкая лесная дорога приводит меня в деревеньку Горбово. Перед правлением стоит белый жеребец, запряженный в двуколку. Когда я подхожу, из правления выбегает рослый мужик в кожаной куртке. Крикнув что-то за спину, садится в двуколку. Лицо его красно. Это председатель Бурунов, писавший заметки в газету под рубрику «Вести с полей». Я жестом задерживаю его, он выслушивает меня. Ударяет вожжой по жеребцу.

— Это теперь меня не касается,— бросает он со злостью,— здесь новые хозяева. А ну пошел!

И жеребец уносится крупной рысью.

В правлении полно народу, накурено. Пробиваюсь к столу и от бухгалтера узнаю: Бурунова сняли с работы. Колхоз подал на него за какие-то махинации в суд. Вместо Бурунова выбрали Самойлову Пелагею Митрофановну. Сейчас она в районе. Документы для строительства пришли, но где именно строить надо, еще не решили. Нужно ждать Самойлову. Досок нет, пилорамы нет. В лесу есть заготовленные бревна, их надо вывезти.

— Придется ждать...

— Да...

Колхоз «Заря» находится в противоположной стороне. Туда я прихожу день спустя. Договор подписан Никовским, но вместо него уже работает председателем Стожков Иван Ефимович, он из местных. Он ведет меня по лесной тропинке из центральной деревни Шибаево в забытую богом деревушку Сосково и говорит спокойно и сильно окая:

— По теперешнему положению я, конечно, обязан предоставить вам и лес, и все прочее, но у меня ничего нет. Да и где ж я возьму? У нас есть сосновый бор за болотом. Но заготовлять лес хорошо зимой... Я могу сказать вам, что такой большой коровник нам и не нужен. Никовский же в районе был, не я... Кого же содержать в таком помещении? Так что вы меня извините, но только у меня ничего нету... Я бы кузню хорошую построил,— тихо заканчивает он.

— Почему в Сосково решили строить?

— Да ведь как вам сказать... Тут сенокосы богатые, много травы пропадает. И пруд в самой деревне, вода близко. Чистая, хорошая вода. Ключи здесь у нас бьют.

Пришли в Сосково.

Три улицы образуют разомкнутый треугольник. В середине его заросший квадратный пруд.

— Где же будем строить? — спрашиваю я лениво.

Стожков озирается.

— Да вот... места много...

— Надо к воде ближе...

— Да.

— Ну здесь, что ли? — Я делаю шаг от камыша, пятясь задом, показываю, в каком направлении вытянется строение.

— Да, да. Давайте так...

Он соглашается, но выражение лица его и голос таковы, будто он только что очнулся от обморока и не понимает, что именно происходит вокруг...

На обратном пути я покупаю в Шибаево большую бутылку вина, кусок сыра. Бреду по дороге, прихлебываю из бутылки. Вдруг нахлынуло на меня, растворилось во мне чувство безразличия ко всему. Вот только эта зеленая чаща леса с обеих сторон, сладкий воздух, какие-то птицы поют. Рябчик сорвался с ветки. Они всегда с таким шумом срываются, а далеко не улетают, садятся близко. Напрасно ружье не взял... Кто я такой здесь? Нужен ли я здесь? Нет, ну серьезно, спрашиваю я громко, останавливаюсь, на кой черт я ходил к Стожкову?

Я отвел руку назад, прицелился, и бутылка разбилась о ствол ели. Потом я ползаю в малиннике. Потом, добравшись до Вязевки, покупаю водки, иду к Баранову. Он почему-то молчалив, но это не имеет значения. Мы с ним чокаемся, и я спрашиваю, знает ли он, что такое инженер-строитель? Знаю, говорит он. Ни черта ты не знаешь, ты председатель. Инженер строит города! Заводы. Он мыслит. Ты знаешь, Михалыч, когда инженер смотрит в чертеж, он читает целую поэму! А я должен строить у тебя из воздуха сарай на две тысячи куриных голов. Когда начну его строить? Когда дашь лес. Давай еще выпьем. Я сегодня пью, завтра буду пить, а приедет Гуркин, я ему дам по роже. Хотя нет, я его не трону. Я буду пить, а меня отсюда уберут. Понимаешь?.. Не валяй дурака, это самое последнее дело... А я самый последний инженер! Я здесь хожу в день по тридцать километров и больше ничего... А я хочу работать... Я сегодня уйду в Кедринск, Михалыч, у меня там есть девушка... В таком виде ты перед ней явишься? Ну и что ж, она славная, она... Ты обедал сегодня, спросил он, садись, похлебай щей. Не хочу я щей, я пойду домой. Думаешь, я пьян? Нет. Я пойду. Ну пока...

Я пришел в Клинцы и сел писать докладную Гуркину. Я написал много и лег спать. Утром перечитал написанное, порвал и написал снова. Я сообщил о состоянии дел и попросил, после сдачи объектов в Клинцах и в Заветах, перевести меня в Кедринск. В противном случае я подам заявление об увольнении меня из СУ.

Докладную отсылаю с нарочным, который везет на подпись главному инженеру аккордные наряды Поспелова. Этот же нарочный приносит мне ответ Гуркина.

«Товарищ Картавин,— пишет он,— вы являетесь молодым специалистом в Советском Союзе и как вам не стыдно, получив загробленные средства на высшее образование, которое представлено партией и правительством, не выполнять долга перед родиной. Я узнал, что ты комсомолец, и тем более непонятно твое нытье перед трудностями, встающими на путях. А также занятия с докладными записками, которые являются развитием бумажной бюрократии, что недопустимо в твои годы при нашей действительности. Лучше бы надо подтягивать сознательную дисциплину, а то, как мне сообщили, после получки рабочие твои пьянствовали, а ты не только их не отвлекал от этого, а сам с ними выпивал. Чтобы такого не было больше. И представь в контору процентовку по коровнику и кровле свинарника. Почему задержка в этом? Вот что надо делать, а не писать бумаги. А также дай знать о дне сдачи — приемки объектов...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Накануне праздника в Вязевку приезжают кинопередвижка, артисты. С ними два поэта и лектор. Лектор, сухой, длинный человек с громадным портфелем и очень подвижный. Отыскал завклубом брата Полковника Василия.

Устраивают сцену. Артисты прогулялись к озеру, потолкались в промтоварном магазине. Часам к восьми собрался народ в клуб. Лектор объявил программу: сегодня будет прочитана лекция на тему «Современность и рели-

гия», выступят поэты, артисты; покажут первую часть двухсерийного фильма. Завтра артисты дадут еще концерт и покажут вторую часть фильма.

Сказав об этом, лектор зачем-то скрывается за кулисы, моментально появляется и уже другим, более официальным тоном около часа говорит о религии, о том, кому она нужна и для чего. Едва лектор скрылся, на середину сцены вышел рослый и здоровый парень в черном костюме. Он вскинул руку вверх, произнес:

— «Россия»! Стихи.

Помолчал, глядя в потолок, встряхнул стриженой головой. Читает он громко и не торопясь. Но поймать, прочувствовать смысл слов трудно. До всех долетают строчки, которые он особенно громко выкрикнул:

Они ругают все
И всех бранят,
Но сало русское едят!

Парень прочитал еще стихи о земле, на которой выросла какая-то чудесная яблоня. И как мозолистые корявые руки гладили тонкую кожицу яблони, как это было ей приятно. И она одарила эти руки замечательными плодами. Зимой же мороз набросился на яблоньку, хотел уничтожить ее. Но... И тут поэт опять возвысил голос:

...Металась вьюга злей и злей,—
Она согретая стояла
Теплом тех грубых мозолей!

И хотя последовали еще три веселые басни, осталось впечатление — он чем-то недоволен. Выступил еще поэт, худенький, видом робкий мальчик. Но, читая стихи, тряс головой, почти кричал и топал ногой. Читая какое-то длинное стихотворение, он почему-то вдруг умолк. В зале подумали, что он забыл, и кто-то хихикнул. Но тут же мальчик опять вскинул голову и докричал до конца. Потом выбежала на сцену маленькая, стройная женщина в черном трико, за ней мужчина и тоже в трико, но в красном. Публика охнула... После этой пары очень полная женщина пропела под гармонь несколько русских народных песен. Потом показали фильм о баптистах, которые довели девушку до самоубийства.

В потемках публика расходится, обмениваясь впечатлениями.

Голос Полковника кому-то толкует о фильме:

— Это шпионы все подстроили. И этот, который был с девкой связавшись,— контра. Я знаю. В Тихвине, помню, были такие, они против хлебной поставки шли. Их к стенке ставили...

Ночь я провел на сеновале: приехали дочь и зять Сергеевны. Я бы всегда спал на сеновале, но петух не дает спать своим криком.

Утром во всех избах шумно. Льется из ковшей брага в стаканы. Смех, говор, крики. К Сергеевне пришли дедко Серега, Аннушка, Аленкин, человека четыре совершенно неизвестных людей. Дедко Серега обнимает меня, лезет целоваться.

— Пей, Борис Дмитрич! Ноне праздник! Вся Россия гуляет! — кричит он.— Вот мы, как с тобой, о? Сработались? Ни гвоздика у нас не пропадает в строительстве?

Я о чем-то разговариваю с Галиной, с мужем ее, который держится чинно, то и дело отряхивает с бортов пиджака крошки, приглаживает рукой волосы. Окна в избе открыты, и я все время прислушиваюсь, не доносится ли шум драки. Кое-как удается выбраться на воздух. Меня беспокоят чикинцы. Захожу в их избу — пусто. У солдат тоже нет. Кто-то подсказывает:

— Они у Моти на чердаке.

На чердаке такая картина: стоит ведро с брагой, стаканы, закуска. Вокруг импровизированного стола чикинцы. Из темных углов доносится сдавленный женский смех, мелькает красное лицо Маруси Раевской.

Я спускаюсь на пол, зову Двоякова. Говорю ему, чтобы немедленно собрал все пики и отдал мне. Голова его исчезает. Тихо. Появляется косматая голова Чикарева.

— А потом отдадите?

— Быстро давайте сюда, иначе завтра всех отправлю в Кедринск.

Десять острых, как бритва, пик выбрасываю в уборную. На душе покойней. Взять бы ружье, побродить по лесу, но покинуть деревню не решаюсь. Жуковцы собрались все вместе, сидят за столом. Бригадир играет на гармошке, два деревенских парня отбивают русскую.

— Данилыч,— шепчу я бригадиру,— ты смотри, в случае чего, разнимай...

— Знаем, знаем, Дмитрич... Садись-ка сюда...

В полдень вся улица запружена народом. Тут и милицейские работники, и солдаты, и железнодорожники, пожарники, продавщицы из кедринского магазина — все, кто покинул деревню, приехали на праздник. Все хмельны. Смех, крики, пляски. Компания баб во главе с Мотей Раевской, в обнимку и качаясь, почти бегут по улице. Лица их красны, потны, они улыбаются и дикими голосами выкрикивают слова какой-то песни. Вдруг круто сворачивают и вваливаются в избу Сергеевны.

— Гришчиха, тудыть твою мать, полно одно только начальство потчевать! Угощай нас, загулявших баб! Где твой начальник? Плясать будем! И-их! Их! Их!..

Когда уже стемнело, я пробираюсь к своей избе. Брага, и водка, и вино, и пиво сделали свое дело. Голова моя кружится, земля поднимается на меня. Только бы добраться до сеновала. Но чьи-то фигуры окружают меня, они дергаются, хохочут. Кто-то тянет за руку. Я хочу вырваться, сознание проясняется, и я узнаю Молдаванку. С ней несколько подруг.

— К нам зайдите, Борис Дмитрич!

— Пойдемте!

Меня усаживают за стол. Я залпом выпиваю стакан водки вместе с девушками. Голова моя распухает, сам я делаюсь необычайно широким. Вдруг уменьшаюсь, трясу головой. Мелькают колени, руки, стучат каблуки — четыре женщины пляшут. Напротив меня в углу под иконой сидит разнорабочая Суворова, перебирает струны гитары, поблескивая золотым зубом, поет, ни на кого не обращая внимания:

Ах, мама милая,
Ты не ругай меня.
За то, что в жулика
Я влюблена.
А эти жулики — люди свободные,
А на ногах носят да прохоря...

— Мастер, пляши с нами! — кричит Молдаванка.— С холостыми бабенками.

Передо мной дрожат ее раскинутые руки. Она быстро и легко отбивает чечетку. Резко садится рядом, губы ее почти касаются моего лица.

— Чего грустишь? Зачем ты грустный! Ведь нравлюсь я тебе, да? У тебя есть здесь подружка? Нету? — От этого шепота я моментально трезвею. Пошатываясь, выхожу в сени...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Праздник длился два дня. Вот чрезвычайные новости. Секретарь сельсовета Вахрушев перебил в своей избе посуду, изрубил мебель. Старик-отец пытался унять сына. Тот выбросил его в окно. Старик лежит в больнице. Секретаря связали, заперли в колхозную кладовую. Кинопередвижку кто-то угнал за Тутошино, машина застряла в кювете.

— Ну, кончилась вальпургиева ночь,— говорит Баранов,— отвеселились...

Мы обошли вокруг свинарника. Плотники заканчивают последние перегородки, прибивают дверцы. Чикинцы заканчивают отмостку. Девчата белят стены.

— Когда вызываем комиссию?

— Через недельку. Давай на двенадцатое число...

Я сообщил своему начальству, Баранов — в райком.

В назначенный день приезжает сам Холков. С ним зоотехник Варварова, Иванов, главный пожарник района и наш Самсонов. Торжественно комиссия обходит сначала вокруг свинарника. Рабочих я уже отослал в Заветы. На всякий случай оставил двух жуковцев и чикинцев. Последних оставил, потому что иначе поступить не смог: ведь свинарник — это их первое дело, принявшее законченную форму. Нужно сказать, что, как только строительство сдвинулось с места и дело двигалось к окончанию, они подтянулись. Только, кажется, у Шевырева осталось безразличие к работе, но и оно внешнее. Живя с клинцовцами, для которых «каменный» свинарник с шиферной кровлей, с выкрашенными краской дверьми, побеленный, с отдельной кормокухней с печами есть нечто из ряда вон выходящее, очень важное и нужное, чикинцы заразились этим взглядом на свое строение. И по тому, как они расспрашивали о комиссии, как бросались исправлять какой-нибудь брачок, я понял, что им важна оценка комиссии, и они хотят присутствовать во время сдачи-приемки. Живописной кучкой они расположились на траве под высоким тополем. Старая рабочая одежда на них изорвалась до предела. Я им выписал спецовки, кое-что каждый из них приобрел для выходного дня. Но им нравится щеголять в прежнем наряде. Посмотреть на них глазом постороннего человека — это компания каких-то бродяг.

Заметив их, Холков задерживает шаг, спрашивает меня тихо:

— А это кто такие?

— Мои рабочие.

На фронтоне прибит силуэт поросенка, вырезанный из фанеры, и на нем выжжено: «1957 год». Это дело рук Чикарева. Холков снисходительно улыбается. Аленкин продемонстрировал работу подвесной дороги. Комиссия вошла внутрь помещения. Холков ударяет ладонью по жердям перегородок:

— Каково, Алексей Михалыч? Дворец у тебя, а? На веки вечные построен. Теперь давай хозяйничай, не подкачай.

Баранов что-то отвечает. Пожарник заглядывает в топки печей, что-то нюхает. Забирается на чердак, спустившись, говорит секретарю, что надо бы опробывать печки. Строители часто портачат в дымоходах. Чикинцы моментально растопляют. Тяга хорошая. Свинарник принимают с оценкой «хорошо».

Перед отъездом комиссии я говорю Холкову о положении дел в «Заре» и в «Искре».

— Да, это скверно,— говорит он, забираясь в машину,— мы обсудим этот вопрос. Решим.

На следующий день — заселение свинарника. С утра почти все клинцовцы ожидают на бугре стадо, которое должны перегнать из Зябиловки. Свинарки во главе с Мотей Раевской одеты в синие ситцевые халаты, в резиновые сапоги. Они взволнованы.

— А может, нонче не погонят? — сомневается Мотя.

— Погонят, погонят...

Наконец из лесу показалась пятящаяся задом женщина в коротком рыжем полушубке. В руках она держит кастрюлю, то и дело сует ее под нос громадной поросной свинье. Та движется за кастрюлей, а за ней по тропинке и гуськом тянется все стадо. За стадом человек тридцать зябиловских людей. Свиньи грязны, худы. С длинными мордами, как у борзых собак. У некоторых хребты изогнуты дугой, кожа плотно обтягивает позвонки. Я никогда не видел таких худых, страшных свиней, даже во время войны. У дверей свинарника стадо скучилось.

— Нажимай! — раздались крики.— Со всех сторон! Разом!

Поросная свинья замерла в дверях, насторожилась. Задрала рыло, громко хрюкнула и шарахнулась назад. За ней все стадо.

Около часа люди бились с животными, но загнать не могут.

— Не ндравится им твой дворец, Дмитрич!

— Несите веревки! Веревки давайте! Будем затаскивать по одному. Сами не пойдут.

— Не пойдуть. Мотька, тащи веревки из кладовой!

Появляются веревки. Началось сражение.

Первой затаскивают поросную свинью. Аленкин продергивает веревку у ней под брюхом, человек восемь наваливаются на нее, тянут за ноги, за уши. Чья-то рука ухватилась за хвост, и я думаю, что сейчас хвост оборвется. В воздухе стоит рев и визг. К концу дня свиньи затащены, лежат в стайках. Зарывшись мордами в солому, тяжело дышат. Беда случилась только с одним поросенком. Худой — кожа да кости — и горбатый, он вырвался из людского кольца, по-заячьи поскакал прочь и свалился в овраг. Он поломал передние ноги, и его прирезали.

Потные, усталые и возбужденные люди расходятся по домам. А утром, когда я завтракаю, в избу приходят свинарки во главе с Мотей.

— Борис Дмитрич, не надо нам машины. Устройте нам котел,— заявляет Мотя,— такой котел, как и в Зябиловке!

— Какой машины не надо?

— Запарника этого с мометрами. Мы боимся его. Котел нам устройте.

— Да вы что, бабы?

Я объясняю, насколько кормозапарник удобней котла.

— Вчера же вам объясняли, как обращаться с ним. Чего же вы молчали? Баранову почему не говорили?

— Да вот молчали, а теперь не хотим. Он может взорваться от пару.

— Кто вам сказал?

— Да сам же председатель вчера говорит: «Глядите за мометром, не пропустите момент, а то взорвется».

— Ну пойдемте, я вам покажу еще раз. Не взорвется он.

— Не надо нам показывать,— Мотя топает ногой,— не надо и все! Дайте нам котел. Не хотим мометров. Или нехай бригадир увольняет нас от этого дела. И сапог нам не надо, и халатов не надо.

— Не надо, не надо,— заговорили остальные.

— Хорошо... Я поговорю с Барановым...

Днем установили в кормокухне громадный котел, привезенный из Зябиловки.

Председатель ругается:

— Черт знает что! Всякое терпение может лопнуть! Спутник запустили в космос, а тут манометра и термометра боятся! Чего ты улыбаешься?! — с ненавистью смотрит он на меня...

Через неделю три поросные свиньи, потрясенные затаскиванием, опоросились мертвыми поросятами.

Аленкин и дедко Серега закопали их в овраге...

Подкралась осень. Моросят дожди. На дорогах непролазная грязь. Даже трактор, тащивший сюда сани с кирпичами, застрял. Он зарылся по радиатор в грязь и простоял в лесу сутки, покуда его не вытянули двумя тракторами.

Я превратился в «ответственное лицо». Как инженер я совершенно здесь не нужен, как организатор тоже. Я здесь должен находиться, потому что, если что-либо случится, нужно кого-то призывать к ответу и наказать. Ну и, конечно, я должен закрывать наряды. Плотники заняты своим делом только у Волховского. Работают они с утра и дотемна. Если они не собьют взятый темп и к двадцать пятому числу закончат стены коровника, у них получится заработок — рублей по сто сорок в день на человека. Это с учетом прогрессивки. Жильем и питанием поспеловцы довольны. Волховской расселил их по два человека в избе. Выписал им мяса, молока. Мясные блюда получают они и утром, и в обед, и вечером. Алексей работает с ними. Когда копали ямки под столбы и траншею для фундамента молокосливной, он собрал человек пятнадцать деревенских парней. И траншея была готова за два дня. Хотя грунт попался каменистый. К стройке прикрепили лошадь, на ней подтаскивают бревна. Представляю, как засуетятся в бухгалтерии, когда туда попадут наряды Поспелова. Возможно, пришлют комиссию для проверки.

Коровник в Заветах уже заселен. И все рабочие, по распоряжению управляющего, переданы колхозу. Они косят овес, копают картошку. Им идет средний заработок, ну и, конечно, командировочные. В колхоз прислали еще студентов из Ленинградского технологического института. Для постороннего, равнодушного человека все это ничего особенного не представляет. Я делаю

простой подсчет. Получается, что себестоимость картофеля не меньше стоимости апельсинов, которые привозили из-за границы.

Шестеро студентов работают в Клинцах. Две девушки живут в избе Сергеевны, я уступил им кровать. Обе проучились по одному году. Обе румяные, с пухлыми щечками и симпатичные. Едой хозяйки брезгуют. С отвращением поглядывают на ее тарелки, ложки. Едят только батоны, привезенные с собой, консервы и пьют чай из своих чашек. Я для них — представитель лесной глуши, темный, не знающий городских радостей человек, который задумчиво слушает их лепет о концертах, фильмах. О том, что я учился в Ленинграде, я не говорю им.

Помню, когда я учился, мечтал поскорей окончить институт. Покидал его без особого сожаления. А тут в один из вечеров вдруг очень даже взгрустнулось. Заглянул в домик учительниц. Встретила меня Ленина; личико припудрено, в новом цветастом платье, в котором стала еще тоньше. И под которым едва-едва обозначились груди. Она всплеснула руками:

— Это вы! Что так долго не заходили? Галя вам привет передает, спрашивает, как вы здесь поживаете. И просит передать вам, что она ни о чем не сожалеет. Я не поняла ее. Наверное, что-нибудь не так хотела выразить.

— Почему она не приехала до сих пор?

— Она и не приедет. Прислала директору справку, что больна, просит выслать ей документы.

— Вот как...

Ленина была возбуждена, поставила самовар. Вскоре пришел в домик сын ветеринара Соснина. Мы пили чай, я болтал что-то, Ленина смеялась. Соснин молчал, и я оставил их наедине. На другой день встретил Ленину, когда она бежала от школы к домику.

— Ленинчка,— крикнул я,— когда свадьба? Меня пригласишь?

Она засмеялась, сказала «хорошо, обязательно» и убежала...

Славная девушка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Оказавшись «ответственным лицом», которое начальство может вздуть за чей-либо проступок, естественно, я поставил перед собой вопрос этического характера: что мне делать, то есть как вести себя?

Если исходить из того, что я все-таки строитель, то должен с утра уходить в Хомутовку. Запыхавшись, появляться там, проверять работу, о которой я заранее знаю, что она хороша. Что-нибудь советовать плотникам, возмущаться какими-нибудь недостатками, без которых невозможно ни одно дело. И о которых плотники знают лучше меня. К полдню я отправляюсь обедать. Потом буду звонить в контору зачем-нибудь. Наконец уеду в Кедринск. Сердясь и возмущаясь, побываю в парткоме, в конторе, заведомо зная, что толку с этого никакого не будет. Делать я ничего не буду, но буду занят, и в глазах окружающих буду выглядеть деятельным, напористым малым. И если случится что-нибудь, начальство не вздует меня, а пожурит.

Можно мне и здесь носиться как угорелому по бригадам, где работают рабочие. Проверять людей по списку. Уяснять, почему нет Иванова, Сидорова, отчитывать их. Самому бросить картошку в ведро. И спешить в другую бригаду и там бодрить людей делом, словом. И опять же: почему я должен подбадривать людей? На основании чего? То, что если картошка останется в земле и сгниет,— ясно любому ребенку. Но почему мои рабочие должны копать картошку? Эпоха, когда людей заставляли работать при помощи горловых связок и палки, прошла. Голые приказы пусть остаются в армии, указами, предписаниями пусть руководствуются юристы. Мысль, логика, расчет — вот после чего начинается работа. Но где логика, расчет, когда траншеи, ямы под фундаменты, выкопанные рабочими, залиты водой, оползают. Выкопав картошку, рабочие вернутся к траншеям, ямам. Будут копаться в грязи, зная, что затраченный ими труд пропал даром. Где логика и расчет? А следовательно и работы нет, а есть бессмысленная затрата сил. Как все объяснить людям? Можно, конечно, ничего не объяснять, плюнуть на все рассуждения и работать

вместе со всеми. Я так и делаю: неделю убираю овес в Заветах, неделю копаю с рабочими брюкву, морковь в Вязевке. Сейчас копаем в Клинцах картошку. А вечером — тоска. Читать я ничего не читаю, равнодушен ко всему. Схожу к дедке Сереге, к Аленкину. И там, и там выпью. К Баранову тащиться по грязи не хочется. В сырой темной мгле поброжу у склада. Влюбиться, что ли? Вот в эту юную румяную студенточку. В какую? Их две. А все равно, положим, в Сашу. Рассказать, кто я есть. Привести внешность в порядок, пустить пыль в глаза... Не я, так кто-нибудь другой все равно обманет... Жениться? Построить себе избу, обзавестись хозяйством, послать ко всем чертям трест и жить в деревне. Буду здесь вершить строительные дела... Иногда, покуда Сергеевна не «забралась на насест», как она говорит, ложась спать, слушаю ее рассказы. Оказывается, старуха Васьчиха слывет колдуньей. Она может поссорить мужа с женой, приворожить мужика к девке и наоборот, посадить килу.

— Может, все может, Боренька, вот ты улыбаешься, небось не веришь, а все так и есть...

Года три назад «навела страсть» Васьчиха на семидесятилетнего Ваню Пашичева. Повадился он ходить в Тутошино к одной молодухе, а та принимала его. Свел Ваня молодухе теленочка ночью, а на деревне пустил слух, будто волки съели теленка. Деньги носил своей сударушке, из сундука вещи старухины стали пропадать. Старуха билась, билась с мужем. И срамила его перед народом, и в избу не пускала по целым суткам — ничего не помогало.

— Только огонь поможет,— подсказала старухе колдунья.

Это значило: надо поджечь избу Ивановой сударушки. Дело было летом, погода стояла сухая. Стала ежедневно ходить старушка в тутошинский магазинчик за чем-нибудь с лукошком в руках. А в лукошке лежала жестяная баночка с горящими угольками. Так-то выследила, когда в избе своей соперницы не было никого, вскочила в сени, взмахнула ручкой. И баночка улетела на чердак, где было сено. Шесть соседних изб сгорело тогда, хорошо хоть застрахованы были...

— И-и, Боренька, куды как горазна Васьчиха на такие дела! Вот же и Посмитину Якову Иванычу она все подстроила, говорят, об этом деле даже в газете печатано было...

Посмитин — тряпичник. Ездит на телеге по деревням, собирает, меняет на нитки, иголки, платки — кости и тряпки.

— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки! — вдруг раздается среди дня призыв на деревне.

Помолчит Посмитин и снова:

— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки!

Сам тряпичник рослый, жирный, руки и шея у него пухлые. Свернет лошадь с дороги, остановится. Женщины, старухи, ребятишки несут припасенное добро. В передке телеги безмен, но Посмитин им редко пользуется, больше доверяя глазу и руке. Встряхнет узелок с костями, прищурит глаз.

— Три пятьсот. Не меньше.

И сунет старухе либо катушку ниток, либо десяток пуговиц.

— Яков Иваныч, мне бы платок бы...

— Для платка мало принесла. Нет ли рваной какой фуфайки? Неси — вот этот платочек получишь...

Ребятишкам сует в руки истрепанные журналы «Огонек»...

Среди деревенских Посмитин слывет жутко богатым человеком. Под Новогорском у него свой дом. В огороде выращивает только редиску, лук. Снимает несколько урожаев и продает на базаре. Говорят, он купил себе «Москвич». А теперь покупает «Волгу». И вот этот Посмитин влюбился в девушку, жившую в Зябиловке. Ему лет пятьдесят, а ей было двадцать с небольшим. Он так, он этак к ней — девка ни в какую.

— Не хочу видеть тебя, вдовца старого, и все!

— Яков Иваныч и подольстился к нашей Васьчихе, Боренька. То, бывало, у Сереги обедает, у Вани, а тут к ней зачастил. Денег ей дал, темного ситцу раздобыл ей и посулил пятьсот рублей, ежели она приворожит Маньку. Что уж Васьчиха делала, мы не знаем. А только не прошло и месяца, как увез Посмитин Маньку. А пятьсот рублей, которые посулил, и не отдал-то! Как

сейчас помню: проезжал Яков Иваныч через деревню, Васьчиха выбежала из избы и кричит:

«Ну гляди, толстомордый, кровь за кровь! Обида моя напастью к тебе обернется!»

Так оно и вышло. Не прожила Манька у него и года, как начала беситься. Ночь придет, она запрется в комнате и не пускает его к себе. Он на работу, она с кавалерами из соседей беседы устраивает. Он ее бить, а она в милицию. Повоевали, повоевали, да и разошлись... Теперь, как он приедет в деревню, Васьчиха и запирается либо уходит куда...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Но кончились и дожди. Мороза еще нет, а везде подсохло, лес поредел, в нем стало светлее. Светлее стало и в избах. С утра светит солнце. Чистая, нежная и грустная осень.

Поспеловцы, несмотря на то, что месяц был дождливый, заработали у Волховского по сто сорок два рубля в день на человека. Это солидные деньги, такого заработка даже на промплощадке не знают. Шуст увидел наряды с такой суммой, схватился за голову, бормотал:

— Срезать, срезать надо. С деньгами сейчас худо. Очень худо. Рублей по семьдесят сделай им, остальные деньги перебросим другим бригадам.

Я отказался срезать. Он погрозил пальчиком:

— Ты как чужой, Борис. Смотри, в коллективе так не поступают. А то споткнешься и никто не поддержит.

Управляющий распорядился помочь колхозам в заготовке леса.

Вновь принимаемых на работу людей Гуркин отсылает ко мне. Происходит это так. В один из дней в коридоре конторы прогуливается фигура в летнем потертом пальто, в разбитых начищенных сапогах и в серой кепке. Лицо у человека худое, глаза быстрые, цепкие. На тонкой шее большой кадык и такое впечатление, будто под пальто нет ни пиджака, ни рубашки на теле. Появляется Гуркин, извещая об этом всех конторских работников громовым голосом.

— Вы ко мне? — говорит Гуркин незнакомцу.

— Да.

— Пройдемте в кабинет. В чем дело?

— Я насчет работы.

— Вы кто? Что вы умеете делать?

Незнакомец мнется.

— А вам кто нужен? — говорит он.

— Гм... Мало ли кто! Все нужны. Плотники нужны, каменщики.

— Я плотничать умею.

— Покажите документы.

Незнакомец подает новенький паспорт.

— И все? — говорит Гуркин.

— Да.

— Не успел, значит, еще приобрести трудовую. Ну, здесь приобретешь. Мне нужны люди в колхоз. Мы там строим.

Незнакомцу это не по душе. Но за окном осень, скоро завернут холода.

— Я согласен.

— Оформим вас землекопом-бетонщиком, а там видно будет. Идите в отдел кадров. Только смотри, чтоб работать как положено.

Через час новый рабочий уже ознакомился с достопримечательностями Кедринска и задержался на базаре, где человек пять женщин торгуют картошкой, черникой, луком. А в крытом помещении два старика разложили на столах поношенные сапоги, шапки, плащи, какие-то железяки, которые бог весть кому нужны. Поговорив со стариками, новый рабочий показывает им золотые дамские часики. Что-то доказывает, бьет себя в грудь. Часы покупаются за полцены. И под вечер в моей избе появляется незнакомец. От него тянет перегаром, он возбужден, развязен. Городит мне небылицы: там-то работал плотником, в Москве два года столярничал на строительстве домов.

Я заметил: подобные типы непременно говорят, будто они работали в столичном городе. На худой конец упомянут Харьков, Новосибирск. По их мнению, это должно поднять их в глазах местного начальства. Что совершенно ошибочно. Федорыч, например, с презрением относится к людям больших городов, угодивших сюда.

В уголке направления незнакомца я замечаю маленькую галочку, поставленную в отделе кадров. Она поясняет все. Направляю новичка в лес к Жукову. Работать с ним — первая ступенька к новой трудовой жизни. Но бывает, Жуков говорит мне:

— Дмитрич, вот этот Быстров не годится. Убери его от греха...

Приходится отсылать новичка обратно в Кедринск...

Вот приходят сразу восемь человек: все одинакового роста, стриженые, крутоплечие, крутолобые. Когда идут они, движения их плавны, будто заучены. «Братья» — мелькает в голове, всегда смотришь на них. Меня отыскали они возле правления.

— Гражданин, то есть товарищ начальник, мы к вам,— говорит кто-то из восьмерых.

— В чем дело?

— Вы здесь самый главный начальник или есть постарше?

Их смутил мой молодой вид.

— Я главный.

Все кивнули, заулыбались.

Происходит разговор.

— Мы очень хорошие работники. Вот направление из конторы. Но прежде чем работать, нам надо отдохнуть. Мы совершили длинное путешествие.

— Это устроим. Кто у вас бригадир?

Переглядываются.

— У нас нет бригадира.

— Нужно выбрать.

— Он нам не нужен. Мы все бригадиры. Так уж подобрались.

— Кто это сказал?

— Я.

— Фамилия?

— Корнев.

— Вот ты и будешь бригадиром. Мы с тобой пойдем жилье искать. Остальные пусть подождут.

Компания рассаживается на траве. Острят по поводу деревни. Один ложится на спину, закладывает руки под голову, читает нараспев:

В стране лесных озер
Синеют небеса...
Друзья, мы отдых
Обрели недолгий:
Свободных птиц,
Поющих, голоса
Зовут, зовут меня на Волгу.

Три дня «братья» отдыхают, потом приступают к работе. А через неделю кто-то обокрал магазин в Заветах. Унесли всю водку, несколько ящиков консервов. Приехал следователь Моргунов с милиционером. Собака след не взяла. Никто не поймет, как произвели кражу: окна, двери, замок на дверях — все не тронуто. Сделали обыск у самой продавщицы, еще в нескольких избах. «Братья» живут у Молочкова. Старик говорит, что в эту ночь они никуда не ходили. Деревенские считают, что магазин ограбили чикинцы, которые пришли в восторг, когда узнали, что милиции не удалось разведать вора.

— Чиста работка! — восхищается Чика. На ногах у него сапоги с обрезанными голенищами. Вся бригада купила себе охотничьи сапоги с голенищами до паха. С неделю ходили, отвернув голенища, с трудом переставляя ноги.

— Зачем вы деньги угробили? — говорю я.— Ведь тяжело в таких сапогах?

Вечером они обрезали голенища, кожу продали сапожнику. Деньги

пропили у Акиньевны. Следователь покидает деревню, наказав мне, Баранову, Соснину присматриваться: не появятся ли где следы украденного...

В «Заре» плотники заготовляют лес. Оказалось, что колхозу принадлежит не сосновый бор, как говорил Стожков, а делянка у самой границы района. Рядом с делянкой стоит изба, она пустовала. В ней жил когда-то лесник. Лесника загрызли зимой волки, семья его уехала в Новогорск. Изба крепкая, печь в ней новая. От ближайшей деревни до делянки километров восемь. Плотники остеклили окна в избушке, стали в ней жить. Стожков обязался возить им продукты. Километрах в четырех от делянки живет лесничий Островский с дочерью Верой. Прежде он жил в Ленинграде, работал в лесном институте. У дочери что-то неладно со зрением. Совсем маленькой она пережила блокаду, во время которой умерла ее мать. Училась Вера в музыкальной школе. Уже тогда она начала плохо видеть. Отец водил ее к профессорам. Никто не мог помочь, зрение ухудшалось. Островскому посоветовали оставить на время Ленинград, пожить с дочерью где-нибудь в сельской местности, где воздух чист. Он принял Войловское лесничество. Поселился в лесу. Познакомился я с этой семьей так. Надо было уточнить границы колхозной делянки. Никто в «Заре» не знал их, я отправился к лесничему. Заросшая кустарником просека приводит меня к поляне: домик, окруженный изгородью, сарай. Во дворе ни души. Навстречу мне прошла от сарая громадная овчарка, улеглась на дорожке у калитки. Обратный путь отрезан. Из-под крыльца выкатился большой коричневый клубок. Он распадается: медвежонок и щенок уставились на мои резиновые сапоги. Переглянувшись, они снова схватываются. В горнице никого. Чисто. На стене карта, малокалиберка. На полу у дивана громадная медвежья шкура. Кто-то заиграл на аккордеоне в другой комнате.

— Кто дома? — спросил я громко.

Выходит худенькая черноволосая девушка. Кладет аккордеон на стол. Подойдя почти вплотную, вглядывается в мое лицо. Резко отворачивается.

— Вам кого?

— Мне лесничего.

— Папы нет дома, он на обходе. Он очень вам нужен?

— Очень.

— Тогда подождите. Он скоро придет обедать. Нет, нет, ружье не ставьте в угол. Давайте я повешу... В угол ставить нельзя. Недавно зашел к нам новогорский охотник. Поставил свое ружье сюда. Сели к столу. Вдруг — бах! Все заволокло дымом. Бросились к порогу, а медвежонок сидит, держит ружье, удивленно озирается. Вот, смотрите.

Она указала на обои, иссеченные дробью.

— Мог бы убить кого-нибудь.

— Да. И, знаете, нисколько не испугался. Теперь, как заберется сюда, сразу в угол лезет. Папа для него палку лыжную становит туда. Уж он ее и так, и этак крутит — не стреляет! — Девушка тихо смеется.

Я присел на стул, хозяйка на диване.

— Давно он у вас живет? — спросил я.

— Кто?

— Медвежонок.

— Месяца три. Как снег выпадет, папа его уведет.

— Куда?

— И не спрашивайте. Мы третий год здесь живем. Этот Мишка у нас второй. Первого папа увел в лес, должно быть убил.

— Зачем он уводит?

Она улыбнулась, закатила рукав кофточки.

— Вот смотрите.

На тонкой смуглой руке от кисти до локтя протянулись три шрама.

— Это только в книжках они добрые,— сказала она,— может, и есть такие. А нам попался злой. Как подрос, трех кур у нас съел и вот здесь еще метку мне оставил,— она провела рукой по бедру.

— Вот такой шрам остался. Вам зачем папа нужен?

Я рассказываю. Приходит пожилой, сухощавый человек, напоминающий Штойфа, только шире в плечах и здоровей видом.

— У тебя гость, Вера. А я иду и думаю, почему ты не играешь. И Дамка дежурит у калитки. Вы ко мне?

— Да.

Я рассказал, в чем дело. Мы пообедали, сходили к делянке. Островский указал просеку, по которой можно будет вывозить бревна. Я остался ночевать

у лесничего. У Веры режим: ложится спать она ровно в девять, а чуть свет уже на ногах. Когда я проснулся утром, в домике никого не было. На столе ждал меня завтрак. Выйдя на крыльцо, я увидел девушку, она возвращалась из лесу с малокалиберкой в руках. Следом за ней бежала овчарка.

Вера помахала рукой:

— Выспались? А мы уже с Дамкой свои владения обошли. Позавтракали?

— Да. Что так рано гуляете?

— Мы каждое утро с Дамкой гуляем. У нас свои владения. Вы уходите?

— Ухожу.

— Я провожу вас...

У начала просеки она остановилась.

— Можно мне задать вам вопрос?

— Хоть десять.

— Только вы должны правду сказать.

— Обязательно.

— Вы заметили во мне какую-нибудь странность?

— Нет,— соврал я.

Она вздохнула.

— Ну вот... и вы лжете. Зачем? Зачем? — повторила она вопрос упавшим голосом.

Я сказал правду: меня удивило то, что она, обращаясь ко мне, либо щурит глаза, либо очень широко раскрывает.

— И только?

— Только.

— Дайте честное слово.

— Честное слово.

Она как-то внутренне засмеялась. Мы медленно шли по тропинке. Разговорились. Вера поведала мне всю историю приезда сюда.

— Сейчас вы лучше видите?

— Не знаю. Кажется, лучше. Знаете, когда думаешь об одном и том же, следишь за собой, ничего толком не заметишь. Папа утешает меня и, конечно, правду не скажет. А вы вот в походке моей ничего не заметили? Значит, дело к лучшему. Раньше я ноги высоко поднимала, когда ходила. Вот так. Все казалось, будто впереди ямка.

Мы три раза прошлись туда и обратно по просеке. Расставаясь, я обещаю бывать у них часто. Но часто бывать не приходится. Начали работать и в «Искре». На переходы уходит масса времени, гораздо больше, чем летом. На дорогах всюду грязь. От дождя плащ мой разбухает, коробится. Ходить тяжело. И путь, скажем, от Хомутовки до Вязевки кажется длиннее, чем он есть на самом деле. Мне надо бы лошадь под седло, но такой нигде не достать. В трестовском конбазе все рабочие лошади. Баранов и Стожков говорят, что у них нет тоже. И я им верю. А Волховской прямо заявил:

— Не дам. Не дам лошадь гонять напрасно.

— Почему же напрасно?

— А потому: вы им построите, угробите деньги, а они через год все эти строения загадят. Я знаю. Вон в Тутошине поставили коровник три года назад. На что он похож? Со стороны смотреть не хочется. А внутрь зайти стыдно. Не дам, не дам, лучше не проси...

И ночевать приходится, где застанет ночь.

Несколько раз спал у Полковника. Изба у него большая, детей нет. В горнице чисто, приемник имеется. Всякий раз он был пьян. Прыгал передо мной, размахивал кулачками. Я все стараюсь понять, что он хочет доказать, чем недоволен. Но никак не пойму.

— Ты, Дмитрич, не смотри, что стар, болен и не у дел власти,— кричит он,— есть еще рука в укоме. И в губком тропиночку знаем! Захочу — всю деревню переверну, а докажу свое. Докажу, какая она тут есть контра! До всех доберусь!

И бежит в сени, стреляет из пальца в сырой навозный ночной мрак:

— Пах! Бух! Бух!

Ночевал и в Сосково. Но там остаюсь на ночь неохотно, когда уж очень

устану. А на улице темень. И бригадир, и жена его принимают меня как какое-то начальство. Суетятся. Детишек загоняют на печку, велят им не шуметь. Хозяйка, подав ужин, станет у печи, стоит, поджав губы, готовая броситься исполнить любое мое желание. Бригадир сидит напротив меня, почтительно смотрит, как я ем его картошку с тушеным мясом. Странно! Ведь я для них подрядчик, они хозяева положения. Но не понимают этого. Не знают, откуда взялись деньги на постройку коровника. И не знают, зачем он им нужен.

— Какую же скотину будете держать в коровнике? — спрашиваю я.

— Так ведь как вам сказать... Нам это еще неизвестно.— Бригадир сводит брови, неожиданная мысль осеняет его: — Должно пригонят откуда-нибудь. Либо по дворам заставят собирать.

— Кто же будет собирать?

— Да ведь это как сказать... Всяко может быть, ежели что... Ну не коров, а телят, к примеру...

Не знаю, как мужчины, а многие пожилые женщины верующие. По каким-то дням недели собираются молиться в большой избе, построенной отдельно от других изб. Даже поп заглядывает сюда. Приезжает откуда-то на таратайке. Поп маленький, жилистый, с длинными руками.

С удовольствием ночую в Хомутовке. Чаще всего в избе старика Ивана Ефимовича Рыпачева, прозванного на деревне Рыпычем. Живет он со старухой, сын женился, построил себе избу на другом конце деревни; дочь живет у мужа через дорогу. Рыпычу пошел седьмой десяток, но он бодр и разговорчив.

— А-а,— встречает он меня,— опять начальника ночь прихватила. Раздевайся, раздевайся. Беседу составим. А то мне надоело со старухой браниться...

Сбрасываю плащ, сапоги. Сажусь на лавку и вытягиваю уставшие ноги.

Приходит Алексей, вникающий в грубые тонкости строительного дела. Чтобы он поскорей усвоил суть чертежа, я посоветовал ему снять на кальку чертежи мастерских. Покуда я ужинаю, Рыпыч и Алексей преподносят новости.

— Ну, показывай,— говорю я Алексею, отодвигая тарелку,— давай посмотрим...

Он раскладывает чертежи, измятую кальку.

— Где Волховской сегодня?

— Уехал куда-то.

Сам Волховской со мной почти не разговаривает. Видит во мне лишь подрядчика, который здесь, завтра уедет. Даже о строительстве не любит говорить со мной.

— Я тебе выделил человека, с ним все решай. Алексей на все уполномочен.

От Рыпыча узнал: у Волховского есть два сына. Оба военные, оба генералы. Старший, артиллерист, служит в Министерстве обороны. Второй — летчик, он где-то на Кавказе. Волховской управляет хозяйством с сорок второго года. В деревне живет легенда о том, как лет десять назад председатель выгнал из Хомутовки какого-то районного начальника.

— Толкал, толкал этого начальника в грудки. За Косой мостик затолкал и говорит: «Вот граница моей земли и чтоб больше сюда ни шагу. Перед партией я сам ответ будут держать».

Волховского арестовали, вмешались сыновья, его освободили. И с той поры в «Красный пахарь» начальство не ездит.

— Да и то сказать,— говорит Рыпыч,— чего нас теребить? Хотя мы и не так хозяйствуем, как другие. Мясо в столовую новогорского завода поставляем мы. С государством расчет у нас полный. Вот только баловством не занимаемся: кукурузу, пшеницу не сеем, от них урожая нету...

То, что я вижу, слышу здесь, не видел, не слышал нигде. Земля колхозная разделена между членами артели, закреплена за ними. Весь урожай с участка колхозника — его личная собственность. По уставу, выработанному артелью, колхозник вносит плату в кассу правления за услуги, которые оно предоставляет для обработки земли, ведения хозяйства. Выражения «частный сектор» здесь не услышишь. Не слышал я слова «сотка», землю делят десятинами, гектарами. Молодняк, племенной скот в отдельных хозяйствах не содержат,

для них имеются общественные помещения, там работают люди, состоящие на службе у общества. В каждом хозяйстве штук по сорок гусей, много кур. Даже ближние лесные поляны засеяны клевером. Скотину до полдня пасут в лесу, затем гонят ее на клевер.

На полях выращивают картофель (очень много, он дает большие урожаи), кормовую морковь, брюкву, сеют овес, а ржи очень мало. Хлеб родится плохо, часто получается так: не успеет колос созреть, зарядят дожди, хлеб пропадает.

Во всех бригадах на каждые два-три двора имеется котел или кормозапарник. Устроены они в сараях, которые называют парками. В избах хозяйки готовят пищу только для себя, для скотины в парках. Печи под котлы в парках устроены в земле, котел расположен низко. Вдоль парков тянется дорога, по ней два раза в сутки проезжают водовозки. Ковшами через воронки и лотки заливают котлы водой. Парки облегчают уход за скотом настолько, что даже Рыпыч со старухой кормят к зиме четырех кабанов, столько же яловых коров. Дойную корову они не держат: у старухи болят пальцы в суставах; молоко берут у дочери. Сарай у Рыпыча, длиной метров в пятьдесят, покрыт тесом. Под сараем печка, борова внутри. Когда надо топить печь, сушат на жердях овес, клевер.

В следующем году Волховской собирается провести в Хомутовке водопровод. Деньги в колхозе есть, но труб никак не достать.

Овес, картошку давно убрали. Как и в других колхозах, здесь есть бригадиры. Но они не собирают на работу людей. Здесь не бригадир требует чего-то от людей, а наоборот. Вечером колхозники совещаются, что-то решают. Бригадиры идут к председателю. Я ни разу не видел, чтобы Волховской вмешивался в дела крестьян.

Участки их не разделены межами, границы участка помечаются вешками. Перед посевной колхозники договариваются, где, что каждый будет сеять, сажать. Получается так: если я посеял овес на этом участке, сосед мой рядом сеет овес и так далее. И обработка земли машинами не усложнена. Лошадей содержат в общественной конюшне. Каждый колхозник работает на одной и той же лошади, ее он может держать у себя во дворе. Когда отводит в конюшню, сдает ее старшему конюху. Каждая лошадь имеет свой номер, кличку. У конюха есть журнал, который проверяется ветеринаром.

Я присматриваюсь к жизни людей в Хомутовке, расспрашиваю об этой жизни Рыпыча, Алексея. Стараюсь познать все тонкости ведения хозяйства, но это невозможно. Нужно жить здесь, быть крестьянином. Многое надо не понимать, а чувствовать...

Утром я прохаживаюсь в сарае Рыпыча. Он привез на тачке месива свиньям. Вываливает месиво в лоток, лопатой подгоняет его под перегородку.

— А коров почему не выгнал сегодня в стадо, Иван Ефимович?

— Уже не погоню больше. Пусть стоят до морозов, пусть отяжелеют...

Смотрю на аккуратный лоток, на тачку. На корявые пальцы старика, испачканные месивом. Как первобытно, просто все! И Рыпыч, и тачка, и вот эти жирные до отвращения свиньи! Одной даже лень подняться на ноги, и она старается дотянуться рылом к корыту. И все ж все пока что без техники, о которой кричат взахлеб наши газеты. Что же будет, когда Волховской разбогатеет настолько, что и механизацию начнут применять?

— Послушай, Иван Ефимыч, восходовский председатель Баранов не приезжал к вам?

Старик поставил лопату к стене.

— Был. Приезжал один раз...

Старик рассказывает, как Баранов приехал, посидел с полчаса у Волховского, говорил ему о своих делах. Волховской слушал молча. Потом сказал:

— Я ничем не могу помочь вам. В стране нашей много сельскохозяйственных институтов, академий. Туда обращайтесь.

На том разговор окончился, Баранов больше не появлялся в «Красном пахаре».

Мы выходим из сарая. Курятся парки. Прошла куда-то компания девушек. В Вязевку сегодня должна приехать зачем-то зоотехник Варварова. Отправляюсь туда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Я завшивел. Узнаю об этом так. В потемках притащился в Клинцы. Ужинаю. Сергеевна отчитывает меня за то, что я отбился от дома. Она говорит, что она не какая-нибудь городская, которая может брать с постояльца деньги ни за что ни про что. Раз уж плачу я деньги, то должен обедать, ужинать здесь.

— Не ругайтесь, Сергеевна...

Мне надо выписать несколько нарядов. Сажусь за стол в горнице. Студенты уже уехали. Спина, плечи, ноги стонут от дневных переходов. Глаза слипаются. Пальцы левой руки тянутся к голове, скребут ее. Вдруг застываю: на белую страничку журнала упала вошь. Лежит на спинке, шевелит ножками. Этого только не хватало. Уничтожив ее, озираюсь, будто кто-то может стоять за спиной. Прошу своего сторожа истопить завтра баню. Старик давно приглашал меня помыться с ним. Но вымыться как следует здесь не удается. Дедко так натопил свое допотопное заведение, что дышать нечем. А когда он, кряхтя от удовольствия, вылил на раскаленные камни ведро воды, я кубарем скатился с полка. Сунул голову в бочку с холодной водой. Кое-как обмылся и ушел в кедринскую баню. Там же остригся наголо. Покуда стригся, все следил за глазами парикмахерши, она, кажется, ничего не заметила.

В тот же день, предупредив Гуркина, еду в райком хлопотать насчет лошади. Гуркин сказал, что управление будет платить за нее.

Замятного в райкоме нет, уехал в область. В приемной Холкова полно людей. Пожилая, с очень серьезным, даже строгим видом секретарша докладывает обо мне секретарю, тот принимает меня без очереди. Расспрашивает о делах в деревне. Покачивает головой, чмокает губами.

— Надо, надо будет как-то уладить все это...

Через полчаса еду в автобусе в коневодческий совхоз «Грива». В кармане лежит записочка от Холкова к директору совхоза Семипалатинскому. До совхоза километров сорок. Потом около часа я плутаю в березовом леску, покуда какая-то старушка с тяжелой корзиной за плечами указала нужное направление. И тропинка вывела меня к четырем кирпичным домикам, за которыми метрах в двухстах стоит ряд длинных конюшен. Небольшой табун жеребят пронесся к реке. Стайка ребятишек указывает мне домик директора, говорят, что он дома, обедает.

Директор вполне соответствует своей фамилии. Громадный, плечи шириной с метр. Круглая голова коротко острижена. Он сидит за столом, ест деревянной ложкой прямо из кастрюли. Ноги его вытянулись из-под стола далеко. На столе хлеб, бутылка водки. Выслушав меня, он кивает на стул:

— Садись. Пообедаем.

— Спасибо. Я не хочу.

— Видишь, как приходится обедать... Баба в Питер укатила по своим делам, а я холостую.

Он вздохнул тяжко, утер губы полотенцем и взял записочку Холкова.

— Черт знает что! Покосы обрезали у Семипалатинского, а лошадь дай! Ты когда был у секретаря?

— Сегодня.

— Кто платить будет?

— Управление. Трест.

— А-а. Ну тогда ладно. Что вы там строите?

Я сказал.

Директор поморщился, сплюнул на пол.

— Черт их знает. Строят, строят им, а все без толку. А я вот второй год бьюсь — надо две конюшни поставить, и не пробить. Я, видишь ли, богат, то есть рентабелен. Ну, и сиди, выкручивайся сам. Ну, пошли...

Он поднялся и едва головой не уперся в потолок.

В Кедринск возвращаюсь верхом на высоком вороном жеребце. Ноги у него длинные, а туловище короткое, голова огромная. Получил от директора устную характеристику жеребца: звать его Зайцем, он страшно умен. Если буду с ним ласков, привыкнет ко мне быстро и будет ходить за мной, как собака.

Дедко Серега отвел для Зайца отдельную стойку в конюшне. Выписываю у Волховского шесть мешков овса. Первое время Заяц относится ко мне недоверчиво. Когда седлаю его, поджимает ноги, кладет уши, скалит зубы. Угощаю его кусочком сахара. И через неделю он привыкает ко мне. Приеду на объект и нужно задержаться. Зайца не привязываю. Он либо бродит за мной, либо, заметив клок сена, стоит жует, поглядывая то и дело в мою сторону.

Рабочий день мой растянулся. Успеваю побывать и в деревнях, и в лесу. А в Кедринске бываю редко. Будь лошадь у меня раньше, кажется, скакал бы туда каждый вечер. Теперь нет. Компания наша распалась. Специалисты покинули гостиницу, им всем предоставили комнаты, квартиры. Маердсон и Мазин взяли себе на двоих двухкомнатную квартиру. Рукавцов и Латков — по однокомнатной. Жиронкина съездила к Черному морю, познакомилась там с кем-то. Собирается ехать в Свердловск, где выйдет замуж за нового знакомого. «Это наша последняя встреча, Борис,— говорила она,— ты будешь меня вспоминать? Я знаю, что будешь». Вот и все. Вот так оно и бывает. Выйдет там замуж. Будет любить своего мужа. «Я люблю мужа своих детей». Где я это слышал? И Козловская выходит замуж. В Окново приехал на побывку молоденький морской лейтенант. Встретил ее в парке. Через неделю «предложил ей руку». «Что ж, Борис, попробую еще раз. Терять мне нечего. Может, все хорошо будет»... Славные девчата. Мы были хорошими друзьями. Но им этого мало. Им нужны мужья. Когда-нибудь и я стану мужем. Кто будет она? Где она сейчас?

Маердсон женится в сорок лет. Он знает, он уверен, что в сорок лет будет главным инженером треста. И тогда он женится. Говорит, что выберет себе здоровую молодую женщину. И женится. Все ясно и просто...

Я еду из Завет в Хомутовку. Заяц идет шагом. Не подгоняю его, поводья опущены. Вот жеребец останавливается, вскидывает голову! Прислушивается. Я осматриваюсь, тоже прислушиваюсь. Никого нет. Чмокаю губами. Четко, твердо простучали подковы по Косому мостику. У поспеловцев не задерживаюсь.

— Людей надо еще? — говорю бригадиру.

— Не нужно, Борис. И маляров не присылайте, мы сами все сделаем. Гвозди вот кончаются.

Я даю ему записочку к сторожу.

Плотники закончили крышу, стелют полы. Они опять взяли аккордный наряд. Опять заработок будет большой. Шуст схватится за голову: «Срезать!»

За деревней сворачиваю на просеку, ведущую к лесорубам. Обгоняю двух женщин с корзинами в руках. Знаю: они несут плотникам выстиранное белье. Знаю и то, что двое из плотников с приходом женщин работать не будут. Тут уж ничего не поделаешь. Завтра загляну к ним. Возле ручья дергаю повод. Овчарка издали узнает меня, приветливо машет хвостом.

— Хозяйка дома, Дамка?

Вера готовит обед на плите. Она продолжает называть меня на вы.

— Папа уехал в Новогорск. Вы его не встречали?

— Нет.

— Вы уже освободились?

— Да, Верочка. Сегодня уже свободен. Пойдем обходить владения?

Она кивает, и, едва заканчивает стряпню, отправляемся. Километрах в двух от домика есть озеро, прозванное Хитрым. Оно глубокое, берега не илистые, как у прочих здешних озер. А твердые, вековые ели вплотную подступают к воде. Случись лето жарким, сухим, вода из озера исчезает. Исчезает не постепенно, а за неделю, полторы. Когда-то давно к озеру приходили купаться деревенские. Однажды, за сутки до исчезновения воды, утонул мальчик. Труп ловили сетями, не поймали, а когда вода исчезла, утопленника не оказалось на дне. Деревенские рассказывают всякие небылицы об этом озере. Островский установил: оно связано под землей с Вязевским озером. Вязевское озеро широко, испарение там велико. В сухую пору уровень воды быстро понижается. По принципу сообщающихся сосудов вода из Хитрого озера уходит в Вязевское.

Одну из толстых елей на берегу озера я отесал, она стоит белая. Метрах в двадцати от нее я устроил барьер, мы стреляем с Верой в мишень. Для нее

белый ствол — мутно-светлая полоса. Потом обходим вокруг озерца, собираем клюкву.

— Я все-таки купаюсь в озере летом,— говорит Вера,— страшно, но купаюсь. Вода теплая, прозрачная. Вы до следующего лета будете здесь, Борис?

— Не знаю.

— Сейчас еще хорошо здесь. Зимой хуже. Зимой я одна не остаюсь в домике, боюсь. Зимой у нас живет Матвеевна из Соскова. Хорошая старушка. Господи, чего она только не расскажет!

Вера задумчиво улыбается. Улыбка исчезает с ее лица. Некоторое время мы молчим. Вдруг она смеется, хлопает ладошками, передает какой-нибудь рассказ Матвеевны. Переходы от грусти к веселью у нее чрезвычайно резки, часты. Приятно удивила меня ее доверчивость ко мне, искренность, с которой задает вопросы, отвечает на мои.

— Вы женаты, Борис?

— Нет.

— Часто ездите в Кедринск. Конечно, у вас там есть знакомая девушка.

— Знакомых много. А одной нет.

По выражению глаз, по едва заметному движению головки ее замечаю, что она не сомневается в честности моего ответа. И он приятен ей.

Уже когда темнеет, шурша опавшей листвой, медленно идем к домику. Заяц коротким ржанием встречает меня. Тихо, глухо вокруг. Пахнет сыростью, увядшими листьями. Начинает моросить дождь. А в домике уютно, тепло. За все время, сколько Вера прожила здесь, она раза три бывала в деревне, да и то с отцом. Жизни деревенских людей она не знает. Я рассказываю ей о Полковнике, о своей хозяйке, о работе. Она слушает внимательно, задает вопросы. Уезжать мне не хочется, но ехать надо.

— Когда теперь заглянете к нам, Борис?

— Когда перестанешь выкать, Верочка.

— Нет, серьезно?

— Завтра. Завтра приеду обмерять бревна на делянку...

Заяц легкой рысью уносит меня по просеке.

По работе меня теперь тревожит только одна мысль: как бы чего не случилось. А случиться может только в Вязевке, где «братья» и чикинцы. Происшествий пока что нет. Похожу между бригадами. Иду в правление. Баранов в кабинете. Отношения между нами изменились. В гости ко мне он не приезжает, подолгу не беседуем. Встречает меня председатель сухо.

— А, это ты. Садись.— И копошится в каких-то бумагах.

— В Кедринск не собираешься, Алексей Михалыч?

— Нет.

Сегодня свадьба Козловской, я собираюсь в Кедринск. Нужно отвезти Шусту процентовку. Кладу ее на стол.

— Подпиши, Михалыч. Тут одна земля. Лишнего не брал.

Я ни разу не обманул Баранова, он подписывает.

В Клинцах Сергеевна дает наказ: надо купить сахару, соленой рыбы, дешевых конфет — подушечек. Только с ними она пьет чай.

Прихватив сумку овса, еду не по дороге, а напрямик через лес, где нужно пересечь два болота, разделенных перешейком, на котором стоят три избушки. Одна пустует, возле нее несколько могилок. Крайняя аккуратно всегда убрана, обнесена оградкой и с памятником. На нем под стеклом фотография мужчины в пиджаке. И под фотографией стихи на металлической пластинке:

Жена и дети, вы прощайте,
Над вами мира благодать.
Меня к себе не ожидайте,
А я вас буду ожидать.

Проходя здесь пешком, я каждый раз задерживался у могилы. Перечитывал стихи. От них холодок бегал по спине. Какая жестокость! Жену и детей ожидать в могиле, постоянно им, живым, твердить об этом! Ведь наверняка покойник еще при жизни сам заказал граверу написать стихи. Может, это просто глупость, неумение высказать что-то иное.

В двух других избушках живут старики с внучатами; молодых нет, они работают в Кедринске. Я заходил в избушки, пил молоко, говорил, кто я, почему хожу здесь. Но каждый раз замечал в окне либо за кустом лица старухи, бородатого деда, которые с удивлением, внимательно смотрят мне вслед...

Еще деревенька Свистово. Железнодорожный переезд. Стройка. Зайца привязываю возле сарая моего соседа. После бани переодеваюсь, иду к Николаю. После сапог туфли кажутся тапочками. Морозит. Ноги, все тело обхватывает холодком. Костюм и плащ кажутся кисейными, и сам я, легок, тела не чувствую. Николай, когда захожу к нему, катается по комнате в коляске.

— А, колхозник появился! Козловскую пропивать примчался?

— Да.

— Я уже поздравил ее,— Николай забирается на диван.

— Колхозничку привет! — из кухни вышла Краевская. На ней фартучек, вся она по-домашнему.

— Немного посидишь с нами? — она накрывает стол.— На свадьбу еще успеешь...

Узнаю, что Люся совсем ушла от Краевского.

— Наверное, придется уезжать отсюда,— Николай закурил. Смотрит, прищурясь, на облачко дыма.— Можешь представить: Краевский не дает ей проходу. Даже сюда приходил, старался убедить меня, что я и Люся — не пара. Что это у нас увлечение временное. Ты знаешь, каким он выглядел на работе. А тут: волосы растрепаны, руки дрожат... И предлагал мне деньги, большие деньги. Совсем спятил...

Люся вышла в кухню. Оттуда послышались всхлипывания. Через дверной проем вижу ссутулившуюся ее спину, дрожащие плечи. Кто-то позвонил. Я открываю дверь — Краевский. Пальто, пиджак расстегнуты.

— Хозяева дома?

— Дома.

Старик снимает калоши, не раздеваясь, проходит. Я смотрю на Николая, он машет рукой, мол, уходи. Ну и ну. Вот еще одна драма.

Квартира Рукавцова этажом выше. Поднимаюсь к нему, стучусь, покуда не выходит соседка.

— Вани нет дома. Вообще он редко бывает в своей квартире...

Мазина и Маердсона застаю. Маердсон бреется, возле него вертится Мара Матросова. Мазин на диване, у него на коленях темноволосая толстуха с горбатым носом. Атмосфера в квартире немного накалена: приятели не хотели приглашать своих подруг на свадьбу, не говорили им о ней. Те пронюхали и осерчали.

— Нет, подумаешь, инженерша замуж выходит, а они нас не хотят брать! Жора? — Матросова внимательно смотрит в лицо Маердсону.

— Мы быстро, скоро вернемся, девочки,— отбивается Жора,— вы ждите нас здесь.

— Какое свинство! Подумаешь!

На столе магнитола, бутылки. Маердсон сбрасывает халат, облачается в костюм, мы поспешно уходим. По дороге приятели, сердясь, обсуждают, от кого подруги могли узнать о свадьбе.

Жених настоял, чтобы свадьбу отпраздновали не в общежитии, как хотела невеста, а в его избе. Когда мы приходим, народу уже битком.

Хозяева рассаживают гостей. Мы с Мазиным забираемся в дальний угол, отсюда видно всех. Козловская в белом воздушном платье, сшитом опять же по настоянию жениха. Жених в гражданской одежде. Белобрысый, розовощекий юноша. Козловская бледна, щурится больше, чем обычно, что-то отвечает на шутки, едва улыбаясь. Поблизости от нее Жиронкина, Алябьева, Латков. Она выискивает глазами своих, встречается с моим взглядом, брови ее вздрагивают, она едва заметно кивает.

Начался пир, который закончился утром.

Молодых проводили в отведенную комнатку. Несколько человек спят на полу, двое под столом. Жиронкина должна была уехать к жениху в Свердловск неделю назад, но ее задержала свадьба Козловской. Провожаю Риту к девятичасовому поезду. Прохаживаемся по перрону.

— Хорошо, что ты один провожаешь меня,— тихо говорит она.

Я молчу. На свадьбе я много выпил, но я абсолютно трезв. Надо бы что-то говорить, но я ничего не могу сказать.

— Тебе долго ехать, Рита?

Она не отвечает. Печальное, грустное что-то наворачивается в груди. И до прихода поезда ходим мы молча. Вот и он подполз, вот шестой вагон. Поезд стоит три минуты. Я поспешно, как-то по-воровски, целую влажные глаза, целую гладкий выпуклый лоб. Глаза ее растерянно и быстро осматривают мое лицо. «Поезд трогается»,— говорит проводник. Подсаживаю ее в вагон, нахожу место. Уже на ходу спрыгиваю. Иду за вагонами, они обгоняют меня.

На станции тихо. Бреду в город. В своей комнате сижу на кровати некоторое время неподвижно. Нашариваю рукой под койкой бутылку с вином. В этот день в деревню не поехал. Снес в контору процентовку. До вечера сижу над материальным отчетом. Когда кончаю его, приходит в контору Латков. Говорит, что сегодня он женится на Алябьевой, чтобы я был к восьми у него. А через день еще побывал на одной свадьбе. Вернувшись, объехал объекты, везде спокойно, никаких чрезвычайных происшествий. Хотел вечером ехать к лесничему, но после выпитого на свадьбах настроение скверное, голова побаливает. Вечером сижу в своей избе, ем картошку, запиваю капустным рассолом. В избу приходит Чикарев. Он в новых сапогах, в новом костюме, волосы прилизаны. Скалит в улыбке белые плотные зубы.

— Куда так вырядился? — говорю я.

— Борис Дмитрич, мы приглашаем вас на свадьбу.

— Кто это мы?

— Я и Маруся.

— Раевская?

— Да.— И он хохочет.

— Ты женишься?

— Я,— опять хохочет.

Черт знает что.

— Когда же свадьба?

— Сегодня. Сейчас приходите.

— Чего же раньше не сказал?

— Так вас не было здесь. Придете?

— Обязательно. Спасибо, что пригласил.

Он уходит. Вот это номер. Еще один номер в житейской программе. Марусе за двадцать, ему скоро только восемнадцать. Да и какой из него муж?

Магазин уже закрыт, что же им подарить? Из ценностей у меня одни часы, ладно, подарю их. Вошла Сергеевна, бросила к печи охапку дров.

— Боренька, Чика никак на свадьбу звал?

— Да, Сергеевна.

Она что-то бормочет.

— Вы о чем?

— Да так... Ох, беда, беда...

В избе Моти дымно, душно. На полу у стен примостились мальчишки. За столом сидят все чикинцы, клинцовские девчата, Молдаванка с подругами, дедко Серега, Филипп, Ваня. Печка ради такого праздника покрашена серебристой краской. С печи свесилась седая голова старухи с желтым опухшим лицом. Мотя снует вокруг стола, подливает в стаканы бражку из ковшика. Мне, как почетному гостю, сама Маруся наливает стакан водки из припрятанной бутылки. Закуска — квашеная капуста, картофель, политый сметаной. Мне бы надо что-то сказать во здравие молодых, я встаю, поднимаю стакан. Я улыбаюсь, но слов подходящих не нахожу.

— Горько! — произношу спасительное слово.

— Горько! Горько! — ревут голоса.

Молодые встают, целуются. Дедко Филипп произносит тихо:

— Гуж... Крепок гуж...

— Виктор Васильевич мой муж,— отвечает Маруся.

— Пшена,— говорит Ваня.— Посыпать пшена.

— Мария Яковлевна моя жена,— вторит Чикарев.

Заиграли на гармошке, начали плясать. Я пробрался к выходу. Небо усыпано звездами. Пахнет морозом. Кто-то вышел следом за мной. Это Мотя. Она подходит ко мне почти вплотную, таинственно шепчет:

— Борис Дмитрич, я к вам с вопросом...

— Что такое, Мотя?

— Закона против этого не вышло никакого?

— Ты о чем?

— Да вот Маруська-то теперь свободно паспорт получит? Задержки не выйдет?

— Нет, задержки не будет.

Она перекрестилась.

— Слава тебе, господи! А то у всех есть зацепка в городе, а у нас только нету. Теперя будет...

Я закурил, поплелся по деревне. За деревней тропинка вывела меня на дорогу. Здесь она суха и сереет широкой волнистой лентой. Шуршит подмерзший песок под ногами. Где-то хлопнул выстрел. Кто может стрелять ночью? Проходя через школьный двор, заглянул в окно Ленины. Через занавеску ничего не видно, но слышны мужские голоса, смех Ленины. Заходить к ним не стоит.

Баранов дома, он сидит за столом, набросив на плечи полушубок, что-то пишет. Кивает мне, продолжает писать. На столе, на подоконнике банки, кастрюля с молоком. Он не знает, куда девать его. Просил Захаровну, чтобы она забирала молоко, но та по каким-то соображением не берет.

Баранов кладет ручку, запечатывает листок бумаги в конверте.

— Домой написал... Возьми там в столе. И стаканы там же.

Рассказываю о свадьбе в Клинцах. Председатель слушает молча, молча выпивает, подперев подбородок рукой, молча смотрит в стену, жуя капусту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Неожиданно выпал снег. Вечером небо было чисто, даже намека на тучи не давало. Ночью они нáползли откуда-то. И к утру навалило снега столько, что, когда я выглянул в окно, не узнал избу Вани. Она нахлобучила громадную белую шапку и села по окна в сугроб. У нас возле крыльца надуло тоже огромный сугроб. И я с полчаса с удовольствием разгребал его лопатой. Дедко Серега говорит, что у них снег ложится гораздо позже. Этот снег непременно растает. За зайцами можно будет охотиться с еловым ружьем, то есть с палкой.

— Зайцы-то в хитрость ударятся: рядом с тобой притаится в лунке, уши положит, а сам-то белый! Тут его и лупи...

Но проходит неделя, вторая. Оттепели нет, даже радио не обещает ее. Снега выпадает больше и больше. От дороги деревенька кажется какой-то более сиротливой, но в то же время она стала уютнее, чище. Дым из труб поднимается по утрам высокими столбами. Резвей, бодрее бегают к ручью девчата, женщины. А мороз крепчает. Вязевское озеро затягивается ледком. Скоро по нему будут ездить. По традиции первым проедет по слабому льду Полковник. Каждый год совершает пробную поездку он, а люди приходят на берег смотреть. Лед потрескивает под копытами, под санями прогибается, образуя позади саней волну. А Полковник держит в одной руке вожжи, широко расставив ноги. Другой рукой помахивает кнутом. Он уже под хмельком. А когда сани вылетят на другой берег, в них падают несколько парней, мужиков, и Полковник мчит в Тутошино к магазину. От магазина компания отправляется в чью-либо избу отмечать счастливый проезд.

Я «отбился от дома», как говорит Сергеевна, окончательно. Редко обедаю дома и часто не ночую — свободное время провожу в домике Островского. Деревня есть деревня. Пошли разговоры, что, мол, Картавин к лесничевой дочке повадился ездить. Днюет, ночует там. Полковничиха встретилась возле правления:

— Что-то, Дмитрич, к нам и носу не кажешь. Галины-то нет, к слепой подался?

И улыбалась многозначительно. Уж, кажется, откуда бы знать Полковничихе о моих встречах с учительницей. Даже Ленина ничего не знает, а вот деревенские знают. Думается, заберись в самую глушь лесную, поцелуй там ствол ели, через день об этом будут судачить. У Веры лыжи есть, я тоже купил себе отличные финские лыжи, валявшиеся в магазине под хомутами. Часто путешествуем с Верой по лесу.

Подъехав к домику, я пускаю Зайца к сараю, где стоят сани, возле них кобылка лесничего. Отряхнувшись от снега, иду в домик.

Вадим Петрович либо сидит за столом, что-то считает, пишет. Либо его нет, он на обходе. Вера в пуховом свитере, в мягких валенках. Она встречает меня без возгласов и не суетится. Но по ее глазам, по лицу и какой-то едва заметной поспешности в движениях мне ясно: приезд мой приятен Вере. Мы беседуем некоторое время и отправляемся в лес на лыжах. Ветви елей прогнулись от тяжести снега, тихо. Где-нибудь мелькнет белка, сорвется рябчик. Выскочит из-под куста заяц, я вскину ружье, бабахну ему вслед. Захватив покрасневшие щеки ладошками, Вера следит за мной, попал я или нет. И каждый раз, когда промазываю, искренне радуется:

— Убежал, слава богу, зайчишка...

Но без нее подстрелю и принесу, радуется вместе со мной удаче, помогает снять шкурку.

Волчьи следы пугают ее, и я на них не указываю. В четырех местах поставлены капканы. Проверяем их. Она любит стрелять, но только не в живое существо. Например, в консервную банку или в ржавое ведро, найденное на берегу Хитрого озера. Обычно возвращаемся в домик уже в потемках. Вадим Петрович сидит за столом, поглядывает на нас поверх очков. Вера снимает свою меховую шапку, курточку, обшитую мехом. Падает на диван.

— Знаешь, где сегодня были, пап? За избушкой, где колеса от телеги валялись. Помнишь?

Рассказывает, что удалось нам увидеть.

Заехали с ней как-то в избушку к рабочим. Те ужинали. У печки возилась молодая сосковская женщина. Нас угостили чаем. Рабочие выпивали, я выпил с ними. Кто-то предложил выпить «за молодых». Шутка пробежала мимо ушей Веры. Вернувшись домой, она рассказала о нашем визите отцу, упомянув о тосте. Внешне Вадим Петрович похож на Штойфа, только крупней немного. А когда дочь смеется, чем-то приятно возбуждена, он напоминает мне Околотова в те минуты, когда дочь его смеялась, слушая мои рассказы. И еще я приметил: когда мы с Верой в комнате, Вадим Петрович хоть и сидит над бумагами, но почти ничего не делает. Изредка тайком, осторожно и внимательно следит за мной. Он неразговорчив. Сообщив что-нибудь из лесной жизни, уходит спать.

— Ну, дети, вы как знаете, а я на боковую. Ты, Верочка, нарушила свой режим, а я уж не буду...

Тихо играет приемник. Вера подбирает на аккордеоне полюбившуюся мелодию. Я лежу на диване с книгой в руках. Вера ничего не читает, она дала себе клятву еще год, полтора не носить очки. Если уж зрение не выправится, тогда вооружится ими. Ей надоест играть, откладывает аккордеон.

— Верочка, иди, почитаем.

Она садится рядом, сидит, поджав ноги, кутаясь в пуховый платок. На секунду отрываясь от строчек, поглядываю на нее. В ее темных зрачках отражается свет лампы. От теней глаза кажутся больше, печальней. Сама она делается как-то меньше, тоньше. И это уже не взрослая девушка, кажется мне, а девочка. Порой читаю вслух, но мысли мои далеко от смысла строчек. Какова жизнь! Вот сидит милое, молодое прекрасное существо, доброе и ласковое ко всему. Загнанное в эту глушь и даже читать не может! Хочется приподняться, погладить ее по головке, сказать что-то ласковое. И какая сила в ней: не хнычет, не убивается, не жалуется на судьбу. Может, это равнодушие к этой судьбе? Нет. Тогда б она не воспринимала с живостью ребенка любую новую жизненную мелочь. Не слушала б с таким вниманием то, что читаю.

— Постойте, постойте, Борис. Я забыла или пропустила, где впервые Куприн увидел Олесю?

Я листаю обратно. Нахожу это место, с удовольствием перечитываю. Время уже за полночь перевалит, а мы читаем. Вера несколько раз снимает нагар с фитиля лампы. Но вдруг я кладу книгу, Вера настороженно с испугом смотрит на меня, прислушивается.

— Ва-а-у-у-уу,— доносится завывание. Это волки. В сарае залаяла Дамка. Страха нет, но неприятный холодок пробегает по спине. Я улыбаюсь, говорю тихо:

— Опять пришли...

— Опять...

— У-у-р-рр...

И не понять, то ли ветер воет, то ли вой отдалился.

Беру ружье, заряжаю патронами с пулями. Потихоньку выхожу на крыльцо. Ветра нет, тихо и темно.

— У-у-у-у...

Опять там, правее от сарая, у самой опушки мелькают желтенькие огоньки. Зажмурясь на секунду, бью в их сторону из обоих стволов. Возвращаюсь в комнату. Вера стелит мне на диване. Вскоре спим...

Поговаривают, будто волков развелось много, а зайцев, дичи стало мало. Волки голодны, злы, наглы. Собак, которых не запирают на ночь, таскают прямо из деревни. В какую деревню ни заедешь, всюду говорят о волках. Частенько я и ночью путешествую здесь, но волков не встречаю. Но вот выпадает неделя, когда мне дважды приходится столкнуться с ними. Нужна подпись Баранова на процентовке по птичнику, председателя нет, уехал в Новогорск. Шуст прислал нарочного за процентовкой, он дожидается у меня в избе. Вечером узнаю, что Баранов вернулся. Спешу в Вязевку. От председателя иду по избам, где живут рабочие, собираю у них командировочные удостоверения, их надо переслать в бухгалтерию.

Днем мороз был градусов двадцать пять, к ночи стало холодней. Луна затянута мутной пеленой. Звонко, резко потрескивают столбы, изгороди, бревна изб. Огибаю озеро. Надо подняться на бугор, затем тропинка бежит через картофельное поле. Спускается в овраг к ручью. Через него мостик — два обледеневших бревна, по которым нужно быстро пробежать, иначе сорвешься в ручей. Потом опять бугор, а там уж видны огоньки клинцовских изб. Жик, жик — скрипит под ногами снег. Вот я пробегаю по мостику и застываю. Инстинктивно хватаюсь за плечо, ружья нет. Перочинный ножик — жалкое оружие! — но достаю его: по гребню бугра наперерез мне плавно, привидениями скользят шесть длинных волчьих фигур. Я беспомощен, я слаб. Только что был сильным человеком, но стоит сейчас этой одной твари заметить меня — и конец. Налетят, сшибут и разорвут. Ветер в мою сторону. В мою сторону ветер. Ветер будет на меня, это хорошо. Так я шепчу. Ну, бегите же, скорей пробегайте. Скорее. Надо носить с собой ружье. Последняя тень задержалась, стала короче. Я вижу два огонька, они смотрят: дерево я или нечто живое? Еще секунда, еще и я сорвусь с места, брошусь вперед, буду что-то орать, свистеть — вот что мне остается. Я уже качнулся, но огоньки исчезают. Все шесть волков огибают деревню, исчезают. Делаю шаг, второй. Бегу. Дыхание перевел лишь возле избы Васьчихи.

Это случилось в среду. В пятницу в деревню приехали Варварова, Иванов, сам Самсонов. Весь день разъезжаю с ними по деревням. В последнюю очередь посетили Заветы. Отсюда начальство уезжает, едва начало смеркаться, я задерживаюсь: водозабор для подачи воды в коровник сделали осенью у самого ручья, вытекающего из болота. Теперь ручей промерз, вода пошла где-то под снегом в другом месте. Покуда отыскали ее, стемнело. Бригадир предложил переночевать у него. Я бы остался. Но по дороге навстречу нам мчится в санях Полковник.

— Дмитрич, ты? — кричит он.— Садись! Эх, вороные! — визжит он, хотя в сани запряжена косматая лошаденка, пегая от инея.— Разудалые технические!

Я падаю в сани, и вскоре мы несемся уже по белой лесной дороге. Полковник в шубе, от него несет водкой, табаком.

— Где был? — кричу я.

— У Василисы! У сестры Василисы! Она малого женить собирается. Поедем на свадьбу, Дмитрич! Самогону нагнали, пива наварили! Э-э-эх!

Лошадь вдруг вскидывается на задние ноги, шарахается в стороны. Я вылетаю в сугроб. Метрах в пятидесяти от нас пронеслась громадная тень. Трещат кусты. Доносится какое-то повизгивание. Следом за громадной тенью мелькают по дороге одна за одной несколько маленьких.

— Лося гонят,— хрипит Полковник,— мать честная! Волки лося гонят, Дмитрич, вот случай-то! Ты с ружьем?

— Нет.

— Держи!

Он сует мне в руки топор. У самого в руках ружье.

— Бежим скорее, Дмитрич, они уже догоняют его. Пара штук наши.

— Куда ты?

— Бежим. За мной, за мной!

Путаясь в полах шубы, вприпрыжку Полковник бежит по дороге. Я не раз слышал здесь сказку о том, как волки гоняют лосей. Загнав зверя в глубокий снег, набрасываются и рвут. Но покуда гонят его, он отбивается мощными задними ногами. Там, где шла гонка, люди находят трупы волков. За одного волка платят пятьсот рублей. Старик сворачивает в лес, я за ним. Что-то темное ползет впереди Полковника. Грохочет выстрел.

— Нехай здесь лежит,— задыхается старик,— еще будут. Они его нагнали. Еще будут.— Он спешит дальше.

Бежать за ним надоедает, но не могу бросить старика.

— Полковник, стой! Куда тебя черти несут?!

Он исчезает в ельнике. Снег до колена. Поляна. Старик мелькает на ней и снова исчезает. Проваливаюсь в какую-то яму, ноги чувствуют воду. Загребаю руками снег, ползу на животе. Выбираюсь на твердое. Пробегаю метров сто и спохватываюсь — топора в руках нет. Ладно. Опять лес, теперь уже густой, в нем темно. Кажется, что бегу по свежему следу, но приглядываюсь — следы старые, притрушены снегом. Останавливаюсь, долго прислушиваюсь. Хоть бы выстрелил! Ведь загрызут же волки. Теперь чувствую, что ноги выше колен мокры. На мне короткая фуфайка, поверх нее натянут плащ.

— Полковни-ик! — кричу я.

— А-ва-ва-ва! — отвечает эхо.

Где-то справа и далеко хлопнул выстрел. Сворачиваю и бегу. Спина вспотела, а ноги начинают мерзнуть; коленям, ляжкам холодно. Опять проваливаюсь. Потом наталкиваюсь на свежие следы, ведущие в обратную сторону. Бегу по ним. Какое-то поле. Поднялся ветер, подбородок, щеки сводит морозом, а ног уже не чувствую. Развести громадный костер? Достаю спички, они сырые. Сколько времени я бегаю, не знаю. Взяв за ориентир луну, решаю бежать в одном направлении, куда-нибудь выбегу. От бега спина теплее стала, но вдруг останавливаюсь, запускаю руку в ширинку. Этого еще не хватало! Только этого не хватало, шепчу я, хватаю снега и начинаю тереть. Тру долго. Когда закололо, защипало, запихиваю в брюки рукавицу. Бегу. Вот под ногами твердо. Оглядываюсь, я на дороге. Слева что-то темное, это лошадь. Хоть бы не испугалась, думаю я, хоть бы не ускакала. Надо подать голос, но изо рта выползает только: «тл-тл-тл».

Мешком валюсь в сани. Медленно отматываю вожжи. До Вязевки должно быть не более четырех километров, но еду, еду, а по бокам лес. Вот мелькнула изгородь, изба, за ней вторая. Окна не светятся, значит, уже поздно. Сознание у меня работает прекрасно, а ногами пошевелить не могу. Возле избы Полковника лошадь остановилась. Выбираюсь из саней. Падаю, ноги сделались резиновыми и не держат. На четвереньках забираюсь на крыльцо, наотмашь бью по двери. Вот меня подхватывают под руки Полковничиха, еще кто-то. Теплый воздух избы паром обдает лицо.

— Да это Борис Дмитрич! — голос Полковничихи.— Родный, что с тобой? Где набрался так-то? Никак обмерз?

Меня раздевают. Стягивают сапоги. Перед глазами таз со снегом. Кто-то трет лицо, ноги. Вдруг вспоминаю про Полковника, рассказываю. Потом мне

стало тепло, покойно, я вижу какой-то цветущий сад. А на земле снег, и на снегу стоит самовар. Две девушки в легких платьицах пьют чай...

— Дмитрич, Дмитрич!

Раскрываю глаза. Полковник смотрит мне в лицо. Он скалит два своих желтых передних зуба.

— Очухался? Вставай. Сейчас мы самый раз прогреемся...

За столом сидят Молочков и ветеринар Соснин. Ноги и лицо у меня горят, они намазаны гусиным жиром. Выпиваю стакан водки с чаем. Полковник притаскивает из сеней, держа за хвосты, двух волков.

— Тыща, Дмитрич. Половина твоя...

Узнаю: оказывается, я пробегал в лесу всю ночь, в деревню приехал под утро. Полковничиха сбегала к Молочкову, тот поднял Соснина. Они долго искали Полковника, оглашая лес криками, выстрелами. Едва вернулись на дорогу, увидели Полковника, волочившего по дороге за хвосты волков.

— Куда же ты делся, Полковник?

— Хе-хе,— скалит он два своих желтых клыка. Разве он где пропадет? Он нигде не пропадет. Он пристукнул второго волка, как и я, сбился со следа, угодил в какой-то овраг, из которого не мог выбраться. У него имелась бутылка самогона. Разложил костер, сидел, ждал меня.

— Молодые вы все еще... Молоды тягаться с Полковником?

Он подает мне очередной стакан.

— Еще пуншику пропусти.

Пунш — крепкий, сладкий и горячий чай наполовину с водкой. Лицо мое горит, кажется, будто оно распухает. Обмороженные щеки не позволяют даже поморщиться. Под говор мужиков забываюсь. Покуда дремлю, Полковник и Молочков поссорились.

Пересказав десятый раз о ночном происшествии, Полковник ударил себя в грудь, заявил, что он, Полковник, «ежедневно, еженощно» добывает себе деньги сам. Вот и за волками гнался, не убоялся смерти. Теперь получит тысячу рублей. Не то что некоторые; идут себе определенного числа на почту, получают по книжечке денежки. Это был намек на Молочкова, получающего пенсию. Захмелевший пенсионер не остался в долгу.

— Мы эту пенсию горбом заработали,— сказал он, ударив ладонью по затылку,— не то что некоторые другие...

— Что другие? — окрысился Полковник.

— А то.

— Что? Ну? Это ж ты об чем? — Полковник убрал руки за спину. Широко расставил ноги в растоптанных валенках. Жена его прошла с ведром в сени, бросив на ходу:

— Полно вам! Опять сцепились, кобели старые!

Я очнулся, лежу, наблюдаю за стариками.

— Собаками мы не были,— свирепо прошептал Молочков,— людей не разоряли, по лесам не гоняли. А ты, собака, в лес меня загнал, семьи решил, а теперь пенсии завидуешь? Позавидуй, что ж. У государства губа не дура, никому зря денежки не дает.

— Не дает? — взвизгивает Полковник.

— Не дает.

Лицо Полковника гримасничает, он часто, часто кусает губы. Сжав кулачки, бегает по избе, вдруг замирает.

— А отчего ж ты там не остался? Почему? Дознаться бы надо нам.

— Отработал свой век и приехал.

— Куды?

— В гнездо родное.

— А-а! В гнездо! По часам работал, а теперь и огород, и сенокос, и молочко дешевое? А не изволите ли обратно — с базара да с магазина пенсией питаться? А? В очередях и прочее?

— Это туда, где твой Семен с Фенькой-то? Сынок и дочка твои?

И Полковника будто что-то ужалило в поясницу. Присев, колотит кулачками по острым своим коленкам.

— Да, у городе мои дети. В голове у них мозг есть. Через то нужны там.

— А ты б заявил, посоветую тебе, сынка куда следует: мол, контра, из колхоза убег. Представьте его на поселение. А? Скольких ты упек таким манером? И сынка с дочерью туда же! Чего ж ты, Ефим?

— А! Дети мои в глазу сидят!

Полковник бросается на Молочкова, старики схватываются, кряхтят, приговаривая:

— А ты, собака, семьи меня решил!

— Мои дети в глазу сидят?

Соснин разнимает их, уводит Молочкова.

Некоторое время Полковник бегает по комнатам. Успокаивается на кровати. Вернулась Полковничиха. Ставит на лавку ведро с водой.

— Что, буянили, кобели?

— Да. Они часто так?

— Почитай, на месяцу раза два. Как нажрутся хмельного...

Днем пришла врач Цейхович. Осматривает меня, говорит, что дня через три можно выйти на воздух.

— Больничный нужно вам?

— Нет, не надо.

Вечером дремлю, а ночью сна ни в одном глазу. Полковник тоже выспался днем, бродит из угла в угол, что-то бормочет. Несколько раз уходит куда-то. Наконец возвращается с таинственно-воровским выражением на лице. Глядя на дверь, за которой спит жена, на цыпочках проходит к столу.

— Дмитрич, держи-ка,— подает он стакан.

От запаха самогона меня воротит.

— Не хочу, Полковник.

— Ну, бог с тобой, а мы сейчас...

Едва бутылка опустела и посуда убрана, он громко крякает, просит у меня папироску. Начинается знакомое мне представление.

— Еще так-то дак ух, как горазны все, Дмитрич,— снует он возле меня, то и дело поддергивая штаны,— посмотришь, просто одно великолепие в порядке вещей. А ума нет. Нету ума. Ум-то понять трудно, невозможно при обстоятельствах. Куда! Сила нужна. Ежели, например, оно не так поворачивается, ты его за рога и вороти, вороти! Правильно я говорю?

— Да ты о чем? Хоть раз растолкуй, о чем говоришь? — прошу я.

— А-а! Не понять? — он хитро подмигивает, стучит себя по лбу.— Вот здеся надо иметь. Да. А я все о том же, о том самом!

И он плетет, плетет черт знает что. На вопрос: «Правильно я говорю?» я уж киваю молча, лишь бы не кричал, не стрелял из пальца.

Но вот я начинаю дремать, и в словах Полковника улавливаю какой-то смысл. Прислушиваюсь. Он вспоминает прошлое. Когда-то он носил портупею и была у него шапка-кубанка. Штаны-галифе оттягивал шестизарядный бульдог. Вся деревня боялась его, Полковника! Никто не смел перечить ему! Скажет слово — шабаш! В любой избе рады были угостить его, а от девок отбою не было. И вот подгадила ему эта учительница, чтоб ей повылазило! Стерва, она приехала сюда и поселилась в домике при школе. Была она красива и чрезвычайно горда. Как ни подъезжал к ней Ефим со своей вежливостью, она не обращала на него внимания.

Как-то приехал в деревню хороший знакомый его из города, увидел учительницу и говорит: «Да это ж Ольга Корсакова, она же из дворянок. Ты, Ефим, проследи за ней».

Ефим намотал это на ус, вечером явился в домик к учительнице. Положил на стол бульдог, учинил допрос насчет ее прошлого и родителей. Припугнул основательно. Пообещал держать все в секрете, ежели она согласна иметь с ним любовь. Учительница вспылила, выгнала его и той же ночью ушла в город. Через три дня приехали укомовские работники, сняли Ефима с должности. Отобрали бульдог. И с той поры начальство будто забыло о нем. Даже на его письма и доносы не обращало внимания.

— И кабы из-за чего, Дмитрич, а то из-за бабы какой-то жизнь моя перевернулась...

Спустя сутки я покидаю избу Полковника. Он настойчиво сует мне деньги:

— Это твои, это твоя половина, Дмитрич.
— Не надо, не надо.
— Ну бог с тобой. Выпить захочешь, завсегда приходи гостем.
Проехал по объектам. Везде спокойно, люди работают. Зима даже чикинцев сделала спокойными, рассудительными. Чикарев после женитьбы остепенился. И на работу ходит в новых валенках, в аккуратной фуфайке. Бригада его перебралась жить в Вязевку, он живет в Клинцах. Мы с ним иногда вместе возвращаемся вечером домой.
— Ну, а как новая семейная жизнь? — спрошу его.
Скалит свои белые зубы.
— Кончим строительство, здесь останешься?
Удивленно смотрит на меня и закатывается еще больше, качая головой...
Проходит неделя, вторая — никаких происшествий.
Дважды побывал здесь Гуркин.
— Приехал, сын, к тебе... Как тут дела идут?..
Уезжая, добродушно ворчал:
— Давай, давай, сын, проворачивайся...
Даже посидели с ним за столом, выпили две бутылки водки. Водку вливает он в себя стаканами, как в бочку.
Вообще с начальством наладился контакт. Поспеловцы опять заработали большие деньги — по сто пятьдесят рублей в день на человека. Шуст предложил срезать по тридцатке: в управлении с фондом зарплаты туго. Для порядка я поупрямился и срезал. Расчет всегда можно сделать так, что рабочие не заметят грабежа. Себя утешаю: деньги взял не себе, сделал это не по своему желанию. Любой прораб, скольких я знаю, поступил бы так же. Я не карьерист, к деньгам равнодушен. Но вдруг получил премию, и это обрадовало меня. Премия дана не за мою работу, за выполнение плана по управлению. Ну и что ж? В том, что дело здесь продвигается медленно, я не виновен. И премия как раз говорит об этом. Как бы там ни было, к весне я разделаюсь с деревней, получу в Кедринске прорабство. Я буду прорабом. А расти по службе надо.
Маердсон в Кедринске уже назначен старшим прорабом. В тресте поговаривают, что он растет и, когда женится, остепенится, возможно, пойдет быстро в гору. Приятно, когда так говорят о тебе.
Но хоть у меня и контакт с начальством, я взял за правило: каждую неделю надо писать докладные на имя Гуркина. На тот случай, если в верхах серьезно заговорят о строительстве в деревне. Поднимется шум, начнут искать виноватого. Но его-то нет, а он должен быть. И его найдут, им окажется «стрелочник», то есть я. Но я не дамся. Со своей кипой бумаг я отобьюсь от кого угодно.
Стал я много читать. И меня больше интересует то, о чем говорится в книге, нежели окружающая жизнь. Она, эта жизнь, есть что-то само собой разумеющееся, не зависящее от меня. Течет и течет широким потоком, по которому нужно плыть озираясь, чтобы не зацепиться за корягу или не наскочить на мель.
Чувствую, как странно я жил до сих пор. Испытывал какую-то неудовлетворенность. Порой наваливалась тоска, места себе не находил. Будто искал что-то важное, очень нужное. Лежащее где-то поблизости, но пока что невидимое. Глупо. Глупо искать что-то невидимое, пропуская мимо жизнь. Она дается один раз, прожить ее надо без ошибок. Да, да. Человек общества че должен ошибаться. Общество может позволить себе такую роскошь. А вместе с ним уж и я. Вина за ошибку ляжет на миллионы таких, как я. Результат ее распылится, унесется временем в прошлое, и никто в отдельности не пострадает. Нужно меньше рассуждать, а знать свои обязанности. И для их исполнения выработать какие-то принципы. Например, утром я говорю себе: сегодня должен сделать то-то и то-то. И если, скажем, в Вязевке не окажется свободных лошадей с санями для вывозки бревен к дороге, я напишу об этом в докладной. Даже потребую от Баранова справку «в том, что колхоз не в состоянии» и так далее. И уже теперь, когда я, сытый, румяный и сильный, выезжаю утром из Клинцов на объекты, настроение у меня прекрасное. Мне тепло, уютно в своем полушубке. И кажется, будто так же тепло, уютно и вот этим кустам, деревьям, избам, заваленным снегом...

«Братья» вдруг покидают деревню. В обеденный перерыв бригадир их находит меня в правлении. Подает пачку заявлений для подписи.

— Почему вы уходите? — спрашиваю я.

— Так... Холодно здесь, глухо. Махнем куда-нибудь на юг.

— Ну что ж...

Бригада сдает инструменты, спецовки. В этот же вечер уходит в Кедринск. На следующий день она уже в пути, поезд уносит ее куда-то. А спустя сутки, вечером, в Клинцы прибегает нарочный от Баранова. Говорит, чтобы я шел немедля в правление.

— Зачем?

— Что-то с Молочковым случилось.

— Да я при чем?

— Не знаю. Рабочие ваши что-то сделали Молочкову. — И мальчишка несется обратно.

Седлаю Зайца.

В правлении народу битком. Шумно. За столом, в центре, сидит Молочков, лицо его красно и распухло. Даже глаз не видно. Когда он хочет разглядеть что-то, пальцами раздвигает веки.

Участковый Верейский, Баранов и Соснин сочиняют протокол. Оказывается, накануне отъезда «братьев» Молочков заметил, как они выносили из его сарая банки с консервами. Он простодушно поинтересовался, откуда взялись эти банки.

— Сие есть великая тайна,— ответили ему.

Тотчас привязали старика к кровати, оставив свободной левую руку, которой он слабо владеет. Уж не таясь, принесли водки, сыру. Устроили пир, угощали старика. Один из «братьев» читал стихи, потом трое разыграли у печки какую-то пьесу. Утром повесили на двери замок, а по деревне пустили слух, будто Молочков ушел в Заветы к внучке. Двое суток старик звал на помощь, пил водку и пел песни. Выручила его Акиньевна, учуявшая странные звуки, доносившиеся из избы соседа.

Вот протокол составлен, я тоже должен подписать его. Подписываю: ни на меня, ни на управление тень не может упасть, ибо «братья» у нас уже не работают.

— Борис Дмитрич, ты куда сейчас? — Это говорит мне Баранов.

По его голосу и глазам понимаю, что он хочет пригласить меня к себе на вечерок. Совсем недавно он сторонился меня, а я с удовольствием поговорил бы с ним. Теперь не хочется. Зачем? Целый вечер видеть перед собой худое, обросшее лицо с круглыми провалившимися глазами. Слушать о том, что кормов опять не хватит в этом году. И в марте придется кормить скот березовыми ветками. Значит, часть коров надо пустить под нож. А молодняк будет болеть и гибнуть. А ведь под снегом много полян осталось нескошенными. А государство обещало дать кормов. Но на Украине случилась засуха, уродило худо. И государство ничего не дает. Будет он говорить о том, как народ приноровился уходить в город: детей уже с десяти лет отсылают к родственникам, знакомым. Дети ходят в городские школы, потом получают паспорта. И в деревне остаются те, кто поленивей, глупее, нерасторопней...

Я буду чокаться с Барановым, смотреть на него и думать о чем-нибудь своем. Скучно. Ему уже скоро пятьдесят. Пора бы кончить рассуждать. Помоему, либо уезжай отсюда, либо действуй как-то.

Выработай какие-то принципы, соответствующие действительности, и действуй вовсю. Хоть ори на всех, штрафуй людей за любой проступок, ну как хочешь поступай, но действуй. Или надо ехать к Волховскому, подружиться с ним... Впрочем, какое мне дело до его образа жизни. Каждый должен знать свои обязанности.

— Еду домой, Алексей Михалыч,— отвечаю я председателю,— наряды надо закрывать.

Но еду я не в Клинцы. У развилки придерживаю Зайца. Махнуть в Кедринск?

Восьмой час. Маердсон и Мазин, конечно, уже чем-то заняты. Навестить Николая нет особого желания. Краевский покинул Кедринск. Люся осталась

навсегда с Николаем. Живут они славно. А вот ехать к ним не хочется. Николай много читает, даже ведет какие-то записи. Когда заявишься к нему, набрасывается с вопросами о работе, жизни деревни. Да с таким видом, будто ему страшно интересно, важно, очень нужно знать всякие житейские мелочи. Потом ударится философствовать.

Рассуждать, спорить, я думаю, нужно тогда, когда предчувствуешь какой-то результат спора. Философствовать можно о том, что тебе хорошо известно, чем ты живешь. Николай же толкует на отвлеченные темы. Последнее время начинает обычно с утверждения: просвещение, то есть образование, еще не дает права человеку называть себя культурным. Можно быть технически грамотным, создавать уникальные машины и оставаться скотом.

Мы уже не студенты. И нужно бы разговаривать спокойней. Он же то и дело выпрыгивает на диван из коляски, затем снова садится в нее. Катается и слова не произносит, а будто выплевывает в меня, будто я в чем-то виновен.

— Человека воспитывают традиции! — кричит он.— У нас есть революционные традиции, военные, а интеллектуально-этических традиций нет, они только зарождаются. Мы должны вырабатывать их в себе! Их создают поколения!

И сразу набрасывается на литературу. Дескать, современная литература в своей массе трактует вечные вопросы о добре, зле, любви с точки зрения участкового милиционера. Бьет муж жену, скандалит, пьет — он негодяй. Живет тихо, мирно, не шатается по улицам под звуки собственной песни — хороший человек. Отношение к действительности, продолжает он,— коренной вопрос в любой современности. Любая современность, если она прогрессирует,— борьба. И вот кому и с кем у нас бороться — это неизвестно. Например, у нас появилось много книг, в которых крошат на чем свет стоит директоров — карьеристов, бюрократов. На последней странице писатель обязательно прихлопнет негодяя. Но писатель не участковый милиционер. Он врач, ему нужны причины. Да и какое ему дело до директора, когда при любом заводе имеются профкомы, завкомы, то есть общественность, которой ума не занимать, и она без писателя разнесет в клочья любого негодяя. Если же сидит такой негодяй и его не несут по кочкам, значит, общественности нет. А вокруг него сидят просто чиновники. И в первую очередь их надо гвоздить, а не директора...

Вот так он будет рассуждать, кричать. А я буду смотреть на него и думать: «Это ты, братец, философствуешь потому, что ты калека и делать тебе нечего. А намотался бы целый день, как я, по деревням, небось не пел бы таких песен».

Понятно, мне надоест слушать друга. Я буду подавлять зевки, прислушиваться, как Люся стучит посудой на кухне. Вот она накрывает на стол, на нем появляется графин с водкой. Я оживляюсь. Но и за столом оживление недолго владеет мной. Люся по-прежнему приветлива со мной, даже ласкова. Я чувствую, что присутствие мое приятно ей. Она, так же как и Николай, в разговоре со мной искренна. И вот это-то меня смущает: я и ей не могу отвечать искренностью. Когда-то в Москве ее обманул курсант военного училища. У нее был ребенок, она сошлась с военным моряком. И этот, по ее словам, оказался негодяем. Потом встретился пожилой Краевский. Теперь она покинула его. Женщина с таким прошлым не внушает мне уважения к себе. Я авансом уже не верю ей. «Пройдет год-два,— думаю я, глядя в ее красивые глазки, на ее свежие красивые губы,— встретишь ты кого-нибудь и бросишь Николая».

Сидеть у людей за столом, беседовать с ними, шутить, а думать о них бог знает что — гадко...

Дергаю правый повод, Заяц сворачивает на просеку. Еду к лесничему. В этот вечер мне стало ясно окончательно, почему меня тянет в этот домик.

За чаем я рассказал между прочим, что в субботу в Кедринске состоится открытие Дома культуры. Заводоуправление наняло оркестр, будет много народа.

— Вы поедете? — спросила меня Вера.

— Да, Верочка, пожалуй...

Вера больше ничего не спросила. После ужина уводит отца в спальню, о чем-то шепчется с ним. Когда он возвращается, я сижу на диване, смотрю газету. Она присела рядом.

— Вы обязательно поедете, Борис?

— Куда, Верочка?

— На открытие.

— Обязательно.

— Знаете... а меня не могли бы вы взять с собой?

Я отложил газету.

— Конечно, Вера! Поедем! Вадим Петрович?

— Да, да,— кивает он.— Поезжайте. Зайца оставь мне, а в моих санках поезжайте.

Весело обсуждаем этот вопрос. Остановимся у меня в комнате. На вечере долго не задержимся, уйдем пораньше, к полночи успеем вернуться. Если же погода испортится, ночью не поедем, переночуем у меня.

— Ох, господи, я давно собиралась съездить в Кедринск!

Вера исчезает в спальне, вскоре появляется в туфельках, в узком черном платье. Волосы собраны пучком на затылке. Не глядя на нас, она прошлась по комнате. Останавливается передо мной.

— Ну, как?

Я увидел перед собой не милую красивенькую девочку, а взрослую девушку. Замечаю, как осторожно взглянул на меня Вадим Петрович. Мне становится неловко, будто меня уличили в чем-то гадком. Чтобы скрыть смущение, я потягиваюсь, даже стараюсь зевнуть.

— Очень, очень хорошо, Вера.

— Вот так я и поеду. Хорошо? Только знаете, Борис, давайте отрепетируем глаза. Надо, чтобы они не очень щурились и не очень раскрывались.

Остаток вечера занимаемся репетицией.

— А так?

— Чуть пошире открой.

— Так?

— Так хорошо.

Когда отец и дочь затихли в спальне, я лежу на диване, заложив руки под голову. Я понял, что люблю Веру. Но каково ее отношение ко мне? Долго я лежу, прислушиваюсь к тишине. Спит ли она? Нет? Засыпаю с мыслью, что завтра пораньше разделаюсь с делами, приеду в домик, когда Вадим Петрович еще будет в лесу. Но пораньше приехать не удается. Волховской не пожелал, чтобы зимой сделали малярные работы в коровнике. Принимает его без малярки. Он, Алексей и еще четверо мужиков — комиссия. Все они прекрасно знают, как велась работа, но для порядка несколько раз обходят молча вокруг строения. Топчутся у кормушек, измеряют ширину стойла. Наконец приходят в молокосливную. Здесь собрались все поспеловцы возле печки.

Волховской опускает свою тушу на скамейку. Мужики присаживаются напротив.

— Ну, так что? — говорит Волховской, помолчав, глядя на членов комиссии.

Алексей переступил с ноги на ногу и молчит. Мужики переглянулись.

— Какие будут замечания?

Молчание.

— Что ж молчите? Семен?

Семену лет пятьдесят. Он снимает зачем-то шапку, приглаживает волосы ладонью. Снова покрывает голову.

— Да что ж, Николай Никитич, что ж тут говорить... Все сделано согласно проектам.

— Проектам, проектам! Нравится коровник? Принимаем?

Семен усмехнулся.

— Так ведь и денежки заплачены. Чай не даром сделано. А перегонять скотину надо из старого. Там пол совсем просел.

— Значит, принимаем?

— Ну как же...

— А с какой оценкой? Ему,— председатель кивает на меня,— в акте оценку поставить надо.

— Хорошо сделано, чего ж...

— Ну так и решили. Пойдемте акт писать. А вы, ребята, в двенадцать приходите в правление. Колхоз дает обед в честь, так сказать, окончания строительства коровника.— Это он говорит плотникам.

Члены комиссии разом оживились. Еще раз осмотрели коровник, спешат распорядиться о перегоне скотины.

Женщины и девушки несут к правлению кастрюли, тарелки. Узнаю, что колхоз зарезал для угощения кабана и теленка. Акт подписываем в избе Волховского. А ровно в двенадцать я сижу в правлении за столом между Волховским и Алексеем. Двое парней наливают из огромной бутыли в графины спиртное, девушки расставляют графины на столе, Волховской поднимается, он благодарит строителей за хорошую работу. Надеется, что плотники проработают в колхозе еще и так же хорошо. В ответном слове я говорю: строители, конечно, хорошо поработали. Однако если б колхоз не приготовил материалы, не помогал бы нам, то стройка затянулась бы.

Все выпили. Минут десять спустя Волховской наклоняется ко мне:

— Пошли, Картавин, в мою избу. Здесь нам теперь делать нечего. А там поговорим.

Мы уходим. В избе председателя никого нет, но стол накрыт.

— Убежали, должно быть, к Насте... Садись...

У него две взрослые дочери, а матери нет, она умерла три года назад. Дочки в том возрасте, когда отец, как наставник в некоторых вопросах, не пригоден. Он поговорил со своей сестрой Настей, и та просвещает дочерей. Волховской улыбается.

— Ну, мы и одни как-нибудь посидим...

Я спрашиваю, чем там угощают плотников — самогоном?

— Крепкая штука?

— Очень.

— Нет, это не самогон.— Он задумывается, глядя в окно. Вдруг жирное тело его трясется от смеха. Ударяет ладонью по столу.

— Ладно, начну с этого...

Его колхоз не играет ни в какие бирюльки с государством. С государственными учреждениями у них чисто деловые отношения. Колхоз никогда у государства ничего не просил и не просит. Но и себя грабить не позволит. В сорока километрах отсюда расположен небольшой спиртзавод. Колхоз поставляет ему почти по себестоимости продукты. За это заводик отпускает «Красному пахарю» спирт и тоже по себестоимости.

— Считай, у меня пятьсот дворов. Каждый двор на праздник обязательно купит литр водки, который стоит в магазине пятьдесят рублей. В году пусть десять всяких праздников. Это, значит, за один год из колхоза уплывет двести пятьдесят тысяч рублей.

Волховской молча посмотрел на меня.

— Одна такая сделка с заводиком оставляет в моем колхозе двести тысяч рублей в год. Да.— Он опять трясется от смеха.— Ну это ладно... Я вот о чем хочу с тобой поговорить...

Этот человек предлагает мне остаться жить в его колхозе. На первых порах я буду получать те же деньги, что и в тресте. А там видно будет. Продукты у него дешевы. Если женюсь, колхоз построит мне избу. Он, Волховской, давно мечтает о таком специалисте, как я. Чистый годовой доход колхоза колеблется от восьмисот тысяч до миллиона. Нужно связать деревни хорошими дорогами, создать несколько строительных бригад, разработать генеральный план центральной деревни, которую надо построить вместо Хомутовки. Провести водопровод, построить плотину... Придется, конечно, нанимать людей со стороны. Работа большая, заниматься ею должен человек с образованием.

Часа два я слушаю этого удивительного человека.

— И заметьте: вы будете полным хозяином,— он складывает руки на животе,— вот я и высказался. Это в основных чертах. Суть, думаю, вам понятна, объяснять детали сейчас не буду. Ответа сразу не прошу. Подумайте.

А теперь, извините, я пойду прилягу. Что-то тяжело стало. А вы один угощайтесь.

Прижав ладонь левой руки к груди, он уходит в другую комнату.

— Только серьезно подумайте...

Сижу один. Наливаю в стакан. Пью. Вот это да. Вот это предложение. Надо подумать. Действительно, надо серьезно подумать. Поеду сейчас в Вязевку, потом загляну в «Искру». По дороге решу этот вопрос. Плохо, что много выпил. Пожалуй, в таком состоянии нельзя принимать решений. А заманчиво. Среди леса, в глуши, выстроить деревню-городок. Воображение рисует этот городок с чистыми улицами, домиками. Канализация, водопровод... Впрочем, ладно, подумаю после. Пошатываясь, выхожу во двор. В правлении поют, играет радиола. С трудом забираюсь на Зайца. Выехав за деревню, чувствую, как сильно кружится голова. В таком состоянии нельзя ехать к рабочим. И к Вере не нужно ехать в таком виде. Еду в Клинцы. Всю дорогу не выходит из головы предложение Волховского.

Ночью мне снится, будто я уже пожилой и почему-то бородатый вожу какую-то делегацию из деревни в деревню по отличным дорогам, обсаженным какими-то причудливыми плодоносными деревьями. Показываю конюшни, плотину. Захожу с восхищенными незнакомцами, щелкающими аппаратами, в светлые дома. В каждом доме хозяйка приветливо нас встречает, приглашает к столу. И все улыбаются... Но проснувшись утром следующего дня, полежав и подумав, решаю отказаться от предложения Волховского. В двадцать пять лет запереться в лесу? Нет, пожалуй, не стоит. Рано. Да и к чему. И вчерашние мысли кажутся мне несерьезными, детскими.

В субботу, в начале третьего, собираемся с Верой в Кедринск. Вадим Петрович запряг в сани свою кобылку. Застеливает полость саней медвежьей шкурой.

Над головой небо чисто, но с северо-запада наползает темное облако. Часто именно оттуда налетают метели. Вера укладывает в сумку свое платье, туфельки, еще что-то. Надевает валеночки, шубку.

В сенях Вадим Петрович задерживает меня.

— Борис Дмитрич,— он тихо шепчет,— я попрошу вас: присмотрите за Верочкой. Поберегите ее.

По просеке мы проехали шагом. Через Хомутовку пролетаем так, что сани в разбитой колее то и дело идут вразнос. Потом мчимся в туннеле, образованном стволами деревьев, их ветвями, заваленными снегом. А вырвавшись из туннеля, попадаем в настоящее снежное месиво. Здесь пурга. Покрываю Веру медвежьей шкурой, смотрю в глаза девушки, они слабо улыбаются.

— Не страшно? — кричу я.

Губы ее шевелятся, она качает головой. Промелькнула человеческая фигура, стоящая у дороги. Мне кажется, это Полковник. Теперь не видно ни леса, ни неба. Лишь у самого Сорокина вырываемся из снежного месива. На шоссе спокойно. Гудят машины. Я не ожидал, что, как мальчишка, почувствую неловкость, оставшись наедине с Верой. Буду отыскивать тему для разговора. Молча распрягаю лошадь, молча уходим с Верой в дом.

— Вы здесь и живете? — говорит она, останавливаясь на середине комнаты, оглядывая стены.

— Да. Собственно, не живу, а изредка ночую. Замерзла?

— Нет.

Помогаю снять шубку.

— Ты будешь переодеваться?

— Да. Утюг есть у вас?

Приношу от соседа утюг.

— Переодевайся, а я сейчас...

— Вы куда?

— В магазин. Я быстро. Надо поужинать.

Ей надо освоиться, пусть подольше побудет одна. Иду в самый дальний магазин. Вернувшись, застаю ее сидящей на койке. Она переодета.

— Это что?

— Это вино, это водка. Здесь закуска. Отметим с тобой удачный приезд.

Я рассказываю о своих соседях, о том, как и где жил до получения этой комнаты.

Водка развязала мой язык, к тому же я выбрал спасительный шутливый тон в разговоре, и это выручает. По дороге в Дом культуры мы весело болтали. У дверей толпа — слишком много желающих попасть на открытие. Но Маердсон сегодня ходит в дежурных, он проводит нас через черный ход.

Горят огромные люстры, гремит оркестр. Должно быть, Вера забыла про глаза, про репетиции с ними. И когда знакомлю ее с товарищами, когда танцуем, улыбка не сходит с ее лица. Но вот в перерыве между танцами я делаю глупость. Мы поднялись на балкон, прошлись вдоль перил. Подходят Латков и Маша. Я оставляю Веру с Машей, ухожу с Латковым покурить. Возвращаясь, вижу, как Маша что-то рассказывает Вере, указывая рукой в зал. Когда молодожены уходят, Вера берет меня за руку, сильно сжимает. В глазах у нее слезы.

— Что такое, Вера?

— Уедемте отсюда, Борис.

— Да что случилось?

— Мне плохо.

Покуда одеваемся, она крепится. На улице разрыдалась. Дрожа и всхлипывая, глотая слова, говорит, что она слепая. С людьми быть ей нельзя. Ей говорят, показывают, она кивает, но ничего не видит. Успокоилась Вера только когда уложил ее в постель.

— Напрасно меня взяли,— сказала она, печально улыбнувшись,— вы где будете спать? Не уйдете?

— Нет, Верочка, не уйду. Я вот здесь себе постелю.

Лицо ее осунулось, побледнело. В глазах была слабость. Когда она уснула, губы ее продолжали что-то шептать. Я сидел за столом, смотрел на нее. В горле у меня застрял комок, на глазах были слезы. Долго сидел неподвижно. Потом допил водку и лег спать. На улице светало.

Проснулись мы поздно, часов в одиннадцать. Я приготовил чай, мы позавтракали и уехали в деревню.

Прошло шесть лет. Кедринск я покинул весной того года. С Верой мы поженились в феврале. Помню, как она, я, Вадим Петрович, Маердсон и Мазин ездили в Новогорский загс. На обратном пути нас захватила метель, мы сбились с дороги, долго плутали по лесным просекам. И к домику приехали в полночь. Домик светился; было шумно, весело. Наверное, со дня его сотворения он не знал такого веселья. Да и я, пожалуй. Среди ночи метель улеглась. Вадим Петрович, гости тоже уснули. Мы с Верой оделись, вышли из домика, долго ходили, хрустя снегом, по дорожке от домика до просеки. От любви и вина я был сам не свой. Я не чувствовал, что я старше Веры, я был мальчишкой.

Месяц мы прожили чудесно. Работа в деревне подходила к концу; я начал хлопотать о квартире в Кедринске. Вадим Петрович собирался осенью вернуться в Ленинград писать какую-то научную работу. Как вдруг случилось несчастье. Однажды Вадим Петрович не приехал из леса обедать. А под вечер пришел плотник из бригады Жукова. Сообщил, что Вадим Петрович в вязевской больнице. Вот что случилось. Километрах в пяти от Хомутовки, на просеке, он наскочил на волчью свадьбу. Лошадь понесла. На повороте легкие санки опрокинулись. Вадим Петрович вылетел в снег, но вожжи не выпустил, боясь остаться на съедение волкам. Только в Хомутовке он разжал пальцы. Лицо его было изуродовано, одна нога сломана. А главное — разбит череп. Пролежал он в больнице две недели, никого не узнавал. Его отвезли в кедринскую больницу, там он скончался. Похоронили мы его на вязевском кладбище.

После этого жить в лесу Вера не могла. Я срочно передал объекты молодому мастеру, перебрался в Кедринск, где получил квартиру. Но Вера и здесь тосковала. Вернувшись с работы, я заставал ее сидящей на диване. Обхватив колени, положив на них подбородок, она молча смотрела перед собой. При моем появлении она оживлялась, весь вечер была весела. Слушала музыку по

приемнику, играла сама. Но дни она проводила в одиночестве. Она сильно исхудала.

Я взял отпуск, мы побывали в санатории, у моих родных.

Когда вернулись в Кедринск, она слегла в постель.

Врачи предлагали ей лечь в больницу на исследование, так как никакой болезни в ней не находили. Вера наотрез отказалась. Гуркин продлил мне отпуск, и я не оставлял Веру одну. Но она, как говорится, таяла на моих глазах. Умерла она в одно воскресное утро. Оно было солнечное, теплое. Я ушел на кухню сварить кофе, а когда принес его, она уже не дышала. Страшно вспоминать об этом...

Живу я сейчас в средней полосе России. Работаю главным инженером строительного управления. Я женат, у меня двое детей. Уже точно известно, что осенью меня назначат главным инженером треста. Каждый год я езжу в Кедринск и в Вязевку. Кладбище в Вязевке возле соснового бора. Я приношу цветы на две могилки, окруженные железной оградкой. Подкрашиваю ее. Посидев на скамеечке, ухожу в деревню. Баранова здесь давно нет, он уехал в Ленинград. О нем вспоминают так:

— А вот тот, которому кровь чужую дополняли.

Или:

— Да который с Настей-пекарем-то жил...

После Баранова побывало здесь четыре председателя. Теперь этот пост занимает ветеринар Соснин. Он располнел, лицом немного распух. Жалуется:

— На двести вязевских дворов у меня приходится всего пятьдесят три работоспособных человека!

Акиньевна померла, изба ее заколочена и скоро развалится. Молочков помер. Он замерз зимой по пути в Заветы. Получив пенсию, выпил и отправился в Заветы к внучке. На полпути присел под сосной, отхлебнул из бутылки и заснул вечным сном.

Полковник жив. Он все тот же. Вставил себе челюсти, мечтает прожить еще лет двадцать. Как и шесть лет назад, будучи под хмелем, бегает по деревне, стучит себя в грудь. Грозит чем-то односельчанам.

В Клинцах стало еще тише. Хозяйка моя, Сергеевна, года два назад погорела. Говорит, будто виновата в этом Васьчиха. Но доказательств нет, и Васьчиха спокойно живет. Сергеевна поселилась в избе Вани, который помер. Сергеевна живет с его старухой.

Жив и дедко Серега, он еще крепок, только больше ссутулился. Жива и Мотя Раевская. Маруся ее живет в Кедринске, работает на заводе. Чикарев бросил ее: отслужил срок в армии и уехал куда-то на восток.

Аленкин по-прежнему бригадирствует. Год назад с ним случился грех: выехал с Яшей сеять овес. Да кто-то приметил: ездят они по полю с пустой сеялкой. Заговорщиков накрыли. Оказалось, они семенной овес пропили. Полгода Аленкин ходил в разжалованных, но потом его снова поставили бригадиром, послали в область на курсы.

Пожив день-два в деревне, еду в Кедринск. Это уже настоящий город, завод дымит круглые сутки. Много детишек, молодежи. Останавливаюсь я у Николая. Люся работает на заводе. Он ходит с костылями, хорошо управляет машиной: у них своя машина. Работает Николай инженером в ремонтно-строительной конторе. У них ребенок — девочка.

Федорыч умер два года назад. После работы зашел в прорабскую, выпил перцовки, положил голову на стол и больше не поднял ее.

Маердсон и Мазин уехали куда-то под Котлас, там новая стройка. Латковы здесь. Околотов с женой уехали на родину в Белгородскую область, куда направили работать после окончания института их дочь.

О ком еще сказать? Молдаванку я не встретил ни разу. Видимо, она уехала вместе с трестом, который перевели куда-то в Кулунчу. А может, она путешествует где-нибудь.

Переночевав у Николая, я уезжаю домой. А через год опять еду в эти места на несколько дней. Жена не понимает, что может меня тянуть сюда. Я ей не объясняю.

— Хочется,— говорю я.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

* * *

Ты мне чаю не готовь,
Лучше сядем тихо.
Спой мне нынче про любовь,
Бабка Воробьиха.
Чтоб глаза — ясны-ясны,
Чтобы сгинул гул мирской,
Чтобы встали *три сосны*
На *дорожке муромской.*
Чтоб в саду твоем в закат
Иглы астр обмякли,
Чтоб ревнивый *Хас-Булат*
Выходил из *сакли.*
И, покуда лес, как щит,
Елку к елке лепит,
Чтобы *замерзал ямщик,*
Едущий по *степи.*

Потускнеют над землей
Облака не скоро.
Спой, зажги перед душой
Те, *златые горы.*
Пусть — дрожащий голосок,
Пусть во рту — ни зуба;
Внучка прыснет в кулачок,
Забежав из клуба,
Впустит в двери языки
Скачущего ритма,
Прошумят ее дружки,
С темнотою слиты.
Пой, гляди в пожар окна,
Где закат без края,
Где поет с тобой одна
Липа вековая.

РЕКА УШЛА

Вода зажглась огнем рябинных ягод.
К полудню ветер пыльный — горячей.
— Да как же так река ушла?
　　　　　　　　　— Да так вот,
Ушла и все. Оставила — ручей.
Я, помню, у моста, где были сваи,
Разбил ногой осенний слабый лед,
Вдруг вижу — рыба, тьма ее: живая,
Стоит, где глубже, дальше не идет.
Тогда мы с мужиками на салазках
Весь день ее возили. Велика,
Жирна, и не уха с нее, а сказка —
Всему селу. Вот так ушла река.—
Старик побрел по скошенному склону,
В осоке взгляд задумчивый топя.
— Ушла и все...
　　　　　давно ли — не припомню,
Еще, поди, и не было тебя...—
Дрожь по спине прошла.
　　　　　　　　　Казалось странно,
Что в гневе, в час рассветной темноты,
Ушла река — и плотный шлейф тумана
Полз позади, цепляясь за кусты.
Ушла, темна, как женщина, за ласку
Хлебнувшая сполна обид и мук.—
Берите все! Тащите на салазках
В следах ее застрявших узких щук.
Тому же, кто ее, в обиде черной
Ушедшую, отправится искать,
Придется, не найдя дороги торной,
Семь пар сапог железных истоптать.
Ведь в тридевятом царстве край
　　　　　　　　　　　　неведом,
Где ждет она и песни льет свои —
В одежде, заколдованной рассветом,
В огнях цветов и рыбьей чешуи.

В ДЕТСТВЕ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛИСЬ ВОЕННЫЕ ОРКЕСТРЫ

Парад! и вы, оркéстровые трубы:
Пора! — и в парк, по площади прямой.
Шарахнется пирожник белогрудый,
Нездешний китель спорит с синевой.
Прохладный петушок в обертке тает,
И зреет ягодой малиновый трамвай,
И раскидай, как бешеный, летает
Вокруг руки: летай пока, летай!
И вафли теплые, и запах зоопарка,
Дразнящий вход, жираф и карусель...—
Нет, не туда! — на площади, под аркой,
Звенит, срывается,
　　　　　　　клокочет медный хмель.

* * *

Я — береза, ты ветер: вдруг
Всю охватишь — сомнутся ветки.
Оборвутся на пестрый луг
Паутинок сухие сетки.
Захлебнется листва, вперед
Полетит, заплещет, обнимет...
Ветер дует — береза поет,
Будто ласку — ненастье примет:
Пусть тускнеет ствола белизна,
Гибких рук ломаются кисти —
Хуже нет, чем сейчас: тишина,
Ветер стих — и повисли
　　　　　　　листья.